

# АННА БЕРСЕНЕВА

ЭТЮДЫ ЧЕРНИ

Подруги с Малой Бронной

Анна Берсенева

**Этюды Черни**

«Анна Берсенева»

2013

**Берсенева А.**

Этюды Черни / А. Берсенева — «Анна Берсенева»,  
2013 — (Подруги с Малой Бронной)

ISBN 978-5-699-63899-4

В судьбе певицы Александры Иваровской – третьей закадычной подруги с Малой Бронной – произошел слом. Красавица Саша оказалась не готова к переменам. Утратился вкус к жизни, и ее наполнила пустота: ни любящего мужа рядом, ни детей, ни дела, ни цели, ни желания. Неужели все в прошлом? Всякий, кто учился музыке, знает: этюды Черни – тяжелый и нудный труд, необходимый для навыков мастерства. Какое произведение должна исполнять душа, чтобы не утратить навыков жизни?

ISBN 978-5-699-63899-4

© Берсенева А., 2013  
© Анна Берсенева, 2013

# Содержание

Часть I	6
Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	13
Глава 4	20
Глава 5	25
Глава 6	28
Глава 7	34
Глава 8	39
Глава 9	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

# Анна Берсенева

## Этюды Черни

©Берсенева А., 2013

©Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Часть I

### Глава 1

«Жизнь несправедлива, это всем известно. Но все равно приходится каждое утро вставать и думать, чем ее наполнить».

Сон сразу улетел. Саша сбросила одеяло и встала босыми ногами на холодный пол. Любопытный намек на патетику ей претил, и не стоило удивляться, что эта хоть и точная, но слишком пафосная утренняя мысль показалась ей неприятной.

Вдобавок день ей предстоял бессмысленный и медлительный. Вечерний концерт, в котором она приглашена была участвовать, был даже не концертом, а просто заработком, особой внутренней сосредоточенности не требовал, и, значит, время до него не шло и уж тем более не летело, а просто тянулось.

И вот она ходила по комнатам и тянула время. Когда-то дед говорил ей, сидящей за фортепиано:

– Саша, ты не играешь, а просто время тянешь.

И как он только догадывался об этом по этюдам Черни, которые она проигрывала один за другим? Саша ни тогда этого не понимала, ни сейчас.

Но дед давно умер, а кроме него, никто ее насквозь не видел, так что и разоблачить не мог, да и музыканты они с дедом в семье были единственные.

В общем, Саша бродила по квартире, пила молоко с маслом и медом – не из-за простуды, а просто для голоса, – примеряла концертные платья – ни одно не казалось ей подходящим к случаю – и скучала. В самом драгоценном смысле этого слова: скука есть отдохновение души, как известно.

К тому же, скучая, очень удобно молчать. Это было второе ее личное правило, умолкать за несколько часов до концерта, и она всегда предпочитала проводить время своего молчания в одиночестве.

И почему пришла ей с утра пораньше в голову странная мысль о несправедливости жизни? Что уж такого несправедливого лично с ней происходит?

Вопрос, впрочем, был не из толковых. Саша вспомнила, как вопросом такого рода огорошила ее в одних вполне приятных гостях – хозяева были журналистами, и дом у них был открытый, вечно полный интересного народа, – одна вполне приятная дама, собиравшая подписи в защиту бездомных собак. В отличие от большинства подобных активисток она выглядела вменяемым человеком. От страданий бездомных собак разговор тогда каким-то образом свернул на Ленина, и Саша заметила, что давно пора бы убрать его с Красной площади, нечего выставлять труп убийцы напоказ в центре страны. И тут сборщица подписей спросила звонким, очень интеллигентным, с родным московским «аканьем» голосом:

– А что плохого, собственно, лично вам сделал Ленин?

Так неожиданно было услышать такой вопрос именно от этой дамы – наверное, из-за ее интеллигентского выговора, – что Саша даже растерялась. Впрочем, растерянность ее сразу же прошла, и, смерив даму взглядом, она с усмешкой заметила:

– Да лично мне, собственно, и Гитлер ничего плохого не сделал.

И, не глядя больше на собаколюбивую женщину, ушла в кухню, где гудел какой-то классически страстный спор.

Да, и теперь вот ничего несправедливого лично с ней не происходит, но оттого, что странная мысль о несправедливости жизни пришла в голову сразу, как только она открыла глаза, Саша весь день чувствовала легкую досаду. Точно такую, какая бывает, если с утра вспомнишь

некстати, что сегодня пятница и тринадцатое число, и как ни уговариваешь себя потом весь день, что не стоит обращать внимания на дурацкие суеверия, тогда они и не сбудутся, – а все равно до вечера не по себе.

Саша приехала в Москву три дня назад, а зачем, и сама не очень понимала. Скучно стало в швейцарской деревне, вот и приехала. И не то странно, что она заскучала, а то, что родители чувствуют себя так, словно вся их жизнь прошла не в мегаполисе, а вот именно в швейцарской глуши.

Утром перед работой и вечером после работы мама берет стеклянную бутылку и идет на ферму за парным молоком. Папа раз в неделю отправляется на шоколадную фабрику за обломками шоколада. Фабрика располагается близ деревни, и за этими обломками, очень дешевыми, ходят все местные жители, и за молоком на ферму все ходят тоже.

На деревенской улице стоит большой холодильник, в нем – свежие яйца, масло, сметана. К дверце прицеплен листок с перечнем цен, по пути с шоколадной фабрики все берут из холодильника кому что нужно и оставляют деньги за взятое.

Саша находила, что все это, конечно, очень мило, но все равно жизнь в швейцарской деревне невыносимо скучна.

Мама считала, что она говорит это из обычного своего упрямства.

– Именно так и должно быть, Сашка, неужели ты не понимаешь? – возмущалась она. – Люди созданы только для такой жизни – разумной, размеренной, погруженной в природу. Тем более люди нашего с папой возраста.

Положим, их шестьдесят лет родителям ни за что не дашь. И непонятно, связана их молодость с размеренностью природной жизни или все же с тем, что они занимаются поисками в невидимом взгляду пространстве частицы под названием «бозон Хиггса», которая неизвестно даже, существует ли вообще.

Неподалеку от деревни, кроме шоколадной фабрики, располагалось также сооружение под названием «адронный коллайдер», с помощью которого загадочный бозон предполагалось изловить, и именно для этого съехались сюда физики со всего мира, в том числе и Сашины родители.

Но самой ей было там делать решительно нечего, а поскольку и к созерцанию красот природы она была приспособлена плохо, то надолго у родителей никогда не задерживалась – сбегала в какие-нибудь более оживленные места, благо мир большой.

В Москву она от скуки и сбежала, и то, что консерваторский однокурсник Гришка Ислентьев позвал поучаствовать в хорошо оплачиваемом концерте, было не причиной ее приезда, а лишь его параллельной линией, и не линией даже, а так, необязательным пунктиром.

Ну, и в квартире она считала нужным время от времени появляться. Грустно было думать, что запустение, которое Саша чувствовала, приезжая домой, может воцариться здесь навсегда. И хотя, казалось бы, не стоит этому удивляться, раз в квартире годами никто не живет, но всякий раз это зримое запустение било ей в сердце, как только она открывала дверь, и всякий свой приезд она начинала с беспощадной с ним борьбы.

Дело было не в беспорядке или пыли – перед каждым своим приездом Саша звонила Норе, и та заходила прибраться, – а в том, чтобы прогнать уныние и наполнить дом собою. На это у нее обычно уходило три дня.

Кофе хотелось ужасно, но кофе вредил голосу, поэтому Саша не пила его перед концертом, хотя бы даже и перед таким незамысловатым, какой предстоял этим вечером. Молоко с медом и маслом – это был ее личный рецепт певческой удачи, и его она всегда придерживалась.

Когда водитель позвонил снизу, она была еще не одета и даже платье все еще не выбрала. Но оттого, что делать это пришлось поспешно, оно как раз и вышло правильно – черное

муаровое, – и Саша подумала мельком, что это тоже хороший рецепт: любой выбор совершать наскоро, не задумываясь, тогда он будет удачным.

Она приколотла к корсажу брошку – крупную бриллиантовую каплю, – набросила на плечи палантин и вышла из квартиры.

Платье было длинное, на улице Саше пришлось приподнять его подол. Из-за этого она вдруг почувствовала себя не то сказочной принцессой, не то французской гранд-дамой, выходящей к карете, чтобы ехать в Оперу. Но всего на минуту она такое почувствовала, и то ей неловко стало: ну что за ерунда, первый концерт в ее жизни, что ли? И не первый, и не сто первый даже, давно пора привыкнуть, да она ведь и привыкла, и неожиданная детская мысль про принцессу – глупость несусветная.

Но глупость эта ее развеселила. И всю дорогу до Волынского Саша чувствовала воодушевление, такое же радостное, как и необъяснимое.

Дни еще были теплыми, но вечерами морозило и воздух казался прозрачнее, чем мог быть в городе, как холодная осенняя вода почему-то кажется прозрачнее, чем теплая летняя. И парковые аллеи выглядели в этом воздухе резкими пронзительными линиями.

К павильону было не подъехать. Машина остановилась у ограды парка, а по аллеям пришлось пройти пешком.

Саша шла под прямыми, в темное небо уходящими соснами, и воодушевление становилось в ее душе таким же острым, как запах осенних листьев, и таким же, как этот запах, самостоятельным, не зависящим уже ни от чего внутреннего, из нее самой происходящего.

Оно просто было, это неясное воодушевление, и поражало собою так же, как осенняя природа.

«Может, предчувствие? – подумала Саша. – Но чего – предчувствие? Концерт какой-то необыкновенный будет или вечную любовь встречу?»

Ни то ни другое не походило на правду. Просто бодрил октябрьский холод.

«Вечерами золко уже», – говорил про такой холод Пашка Солдаткин.

Пашка жил в деревне Кофельцы и все лето проводил в дачном поселке. Он был в Сашу влюблен с пятого по девятый класс и ужасно этого стеснялся. Про его влюбленность все знали и, понятное дело, не упускали случая над ним посмеяться. От насмешек Пашка делался морковно-красным, как его шевелюра, и видно было, что он едва сдерживает слезы, но Саше ни чуточки не было его жалко. Подружка Кира Тенета относилась ко всем Сашиным воздыхателям с сочувствием, а сама она всегда была жестокосердна. Но несмотря на это, у Киры собственных воздыхателей ни в детстве, ни в юности не было, а у Саши они не переводились. Или не несмотря на это, а как раз поэтому.

Да, именно такие вечера Пашка называл золкими. Сидели они все на веранде у Иваровских, глянешь в небо – и звездный свет слепит глаза.

Павильон наконец показался за поворотом аллеи. Он был похож на китайский фонарик – белый, полотняный и ярко светился изнутри.

На площадке перед павильоном толпились многочисленные гости. В толпе ходили клоуны, предлагали что-то вытаскивать из разноцветных бумажных пакетов, смеялись, неожиданно кувыркались. По бокам площадки стояли большие газовые горелки, и от этого казалось, что павильон заключен в жаркую прозрачную капсулу, отделяющую его от темного и золкого, как этот осенний парк, мира.

Под горелками стояли жаровни, на них в блестящих медных тазах варилось варенье. Пухленькая повариха в бело-золотом колпаке ссыпала в сироп нарезанные яблоки и лила коньяк из пузатой бутылки.

«Ну да, Гришка говорил же, осенний яблочный праздник, – вспомнила Саша. – Гостей вареньем развлекают».



Она хотела подойти поближе к жаровням и спросить, зачем лить в варенье коньяк, но не успела – подскочил распорядитель, приговаривая:

– Наконец-то, уже начинаем, а вас все нету, мы волновались, вдруг опоздаете или вообще... – и еще какие-то глупости.

Он провел Сашу вокруг павильона к маленькой двери, за которой открылся полутемный, освещенный одной тусклой лампочкой закуток, отгороженный от остального павильонного пространства занавеской. За этой занавеской шумел зал, шум то и дело перекрывался музыкой, от которой павильон ходил волнами, как цыганская кибитка. По краям закутка стояли стулья, посередине стол и рядом с ним вешалка. У вешалки сидел Гришка Ислентьев и застегивал на себе галстук-бабочку. Зеркала не было, и бабочка застегивалась криво.

– Привет, – сказал он, увидев Сашу. – Шубу не снимай пока, тут холодно.

А хоть бы и тепло – вешалка все равно чуть не падала от уже наваленной на нее одежды. Добавлять к этой свалке палантин из бриллиантовой норки Саша не собиралась.

– Слушай, – сказал Гришка, – давай городские романсы споем?

– Почему вдруг? – удивилась она.

Городские романсы – разнообразные «страдания» – Саша, конечно, знала, но сегодня они собирались исполнять классические хиты в современной аранжировке. Гришка сам ей сказал, что это всегда пользуется успехом на подобных мероприятиях – проверено.

Не то чтобы Саша сильно держалась именно за аранжированную классику, но то, что придется на ходу менять программу, почему-то рассердило ее.

– Мало того что ты мне не сказал, что петь придется на улице, так еще и программу менять? – возмутилась она.

– И совсем, во-первых, не на улице, – возразил Гришка. – К тому же на сцене горелка жарит, горло не простудишь. А во-вторых – ну попросил народ душевное, почему нет?

В общем-то он был прав, и спорить по пустякам не стоило.

– Так, может, вообще «Ой, мороз, мороз» споем? – усмехнулась Саша.

– Может, и споем, – пожал плечами Гришка. – Если попросят. Тебе хорошо там, в Европах, а мы тут ко всему привыкли. Ну, до коней и камышей, надеюсь, не дойдет, – успокоил он. – Эти, у которых праздник, вроде бы из приличной конторы, не киоски у метро держат.

– А что они держат? – без особого интереса спросила Саша.

– Компьютерное что-то. Не грузись, Александра, – улыбнулся он. – Тебе не все равно? Хотели мировую звезду – нате вам мировую звезду. Главное, гонорар хороший.

Что ее следует считать мировой звездой, Саша была уверена не вполне, но спорить не стала. Тем более что и суетливый распорядитель опять появился перед нею, и опять неожиданно, словно просочился сквозь полотняную стену.

– Прошу! – провозгласил он. – Вас уже объявляют.

– Как объявляют? – Саша обернулась к Гришке. – А петь мы что все-таки будем?

– А что на Дунае тогда пели, помнишь? Австриякам понравилось, и этим понравится.

В замке на Дунае они давали концерт около года назад. Гришка приехал тогда в Вену буквально на три дня и сразу же позвонил Саше с предложением спеть под его аккомпанемент на дне рождения какого-то миллионера – «не бойся, не нашего бандита, аристократа австрийского». Подобные предложения просто вихрились вокруг него, и непонятно даже было, когда он успевает играть в московском симфоническом оркестре, где исправно числился третьей скрипкой много лет.

Саша уже забыла, что именно они тогда пели. Конечно, вспомнить это не составляло большого труда, но петь без подготовки все равно было неприятно.

– Мы только в начале пару романсов, а остальное все по плану, – торопливо заверил Гришка.

Ответить Саша не успела.

– Дорогие друзья, вас приветствует звезда мировой сцены Александра Иваровская! – донесся голос конферансье из-за полотняной стены.

– Шубку позвольте. – Распорядитель оказался теперь у Саши за спиной. – Не волнуйтесь, я покараулю, пока вы поете. Глаз не спущу.

Покараулю!.. Затея все больше отдавала провинциальностью. Хотя и павильон выглядел стильно, и парк в Волинском был не хуже, чем Венский лес...

Саша пожала плечами, заодно сбросив распорядителю на руки палантин, и вслед за Гришкой пошла к занавеске, за которой находилось то, что в ближайший час ей предстояло считать сценой и зрительным залом.

## Глава 2

– Вот и все! А ты боялась.

Гришка вытер лоб. Он был пухленький, и пот начинал лить с него градом, как только он брал в руки скрипку; это еще с консерваторских пор было известно. Да и газовая горелка действительно полыхала на сцене так, что жарко стало даже Саше в ее муаровом платье с открытыми плечами.

Она чуть было не ответила, что несколько не боялась, да вовремя вспомнила, что это просто школьная дразнилка.

«Вот и все, а ты боялась – даже платье не помялось!» – продекламировала Саша, вернувшись домой после своего первого школьного дня.

Мама с папой хохотали до слез, а дедушка не понял, почему они смеются.

Но бог с ней, с дразнилкой, – сейчас она чувствовала не страх, а что-то вроде досады. Наверное, это было слишком заметно, потому что Гришка сказал:

– Ты на нерве всегда хорошо поешь.

Саша не успела ответить – администратор подскочил к ним, помахивая конвертами.

– Замечательно выступили, – скороговоркой сообщил он, протягивая конверты ей и Гришке. – Ваш гонорар.

Несмотря на скороговорку, интонация у него теперь была не суетливая, а небрежно-деловитая.

Гришка свой конверт распечатал и пересчитал деньги; Саша не стала.

– Ужин буквально через пять минут, – сказал администратор и исчез так же мгновенно, как появился.

– Какой ужин? – спросила Саша.

– А видела, что у них на столах? – сказал Гришка. – Стерлядки, осетринка. Ну и мы покушаем.

В превкушении стерлядок Гришка даже облизнулся.

– Рыбы, что ли, никогда не ел? – рассердилась Саша.

Ладно еще в голодные годы, когда и бутерброд с колбасой казался лакомством, но сейчас-то что из-за какой-то стерлядки рваться за стол к незнакомым людям? Один из этих людей смотрел на нее не отрываясь все время, пока она пела, и взгляд у него был жаркий, как пламя горелки, и глаза казались черными неостывшими углями, особенно по контрасту с его снежно-белым свитером.

Саша вспомнила этот взгляд и рассердилась: зачем он запомнился, и свитер тоже – зачем? Избыточные житейские наблюдения всегда ее раздражали.

– На халяву и хлорка – творог, – рассудительно заметил Гришка.

«Не пойду я с ними ужинать», – с досадой подумала Саша.

Она сама не понимала, из-за чего эта досада. Что-то не так. Не то.

Занавеска снова откинулась, и вошла официантка с уставленным посудой подносом. Она подошла к столу и, чуть сдвинув свисающие с вешалки пальто, принялась составлять с подноса блестящие судки. В одном из судков была рыба, содержимое других было не различить. Лицо у официантки было хмурое. Или казалось таким в тусклом свете лампочки, во всем неуютные этих странных закулисы?

– Это что? – удивленно спросила Саша.

– Ужин ваш, – буркнула официантка.

– Как ужин? Здесь?..

Спрашивать об этом было глупо – едой был уже уставлен весь стол.

– А вы где хотели? – пожала плечами официантка.

Да нигде она не хотела! Но то, что ужин предложен в закутке, словно кошке, было так оскорбительно, что у Саши даже в висках закололо.

– Здесь же не Вена все-таки, – проговорил Гришка.

Тон был извиняющийся. Скорее всего, он тоже вспомнил тот вечер на Дунае, и как они гуляли после концерта в замковом парке вместе с именинником, австрийским бароном, и золотые фонарики, развешанные на деревьях, казались окошками эльфов, и барон рассказывал, что вместе с детьми целый месяц вырезал к празднику эти фонарики из китайской рисовой бумаги...

Вспоминать об этом было так же глупо, как разыгрывать какую-то сугубую ранимость. И не собиралась она ничего разыгрывать. Ей было до того противно, что хотелось только одного: немедленно уехать.

Саша надела палантин – администратор не стал его караулить, а просто пристроил на вешалку – и пошла к дыре, заменявшей в этом заведении дверь.

– Подожди, ты куда? – спросил Гришка.

– К машине.

– А ты уверена, что она есть?

Этот вопрос как-то не приходил ей в голову. Хотя, похоже, это был самый разумный вопрос, который она должна была себе задать.

– Ну так узнай, есть или нет! – сердито бросила Саша. – И скажи, что я к воротам пошла.

– Кому сказать? – донесся ей вслед растерянный Гришкин голос.

Саша не ответила и даже не остановилась.

## Глава 3

Она шла по парку и злилась так, как давно ей не приходилось злиться.

Она терпеть не могла чувствовать себя душой. А никем другим сегодняшний вечер просто не оставлял ей возможности себя чувствовать. Кем должен чувствовать себя человек, который позволяет себя же унижать? Да вдобавок без всякой причины унижать! Для Гришки хоть деньги имеют решающее значение, а она-то чего ради?..

Она отдалась пустому потоку жизни, вот что. Тому потоку, который несет с собою большинство людей, заставляя их совершать поступки просто так, без цели и без причины. У них, у этих людей, нет ни сильных желаний, ни острых нежеланий, ни живых стремлений, ни страстной любви, ни горячей ненависти, ни тщеславия хотя бы – у них нет ничего, что заставляет делать над собой усилие, сопротивляться пустоте и скуке жизни. И вместе с тем нет у них того единственного, что позволяет избегать пустоты и скуки естественным образом, без усилия: фермента молодости у них уже нет. Им исполнилось сорок лет, этим людям, изменился химический состав их организма, и жизнь их стала пуста, и сами они стали пустым местом на карте жизни.

Она знала, что так бывает, но никогда не думала, что так может произойти с ней. Но вот ей исполнилось сорок лет, и это с нею произошло.

Стоило Саше подумать обо этом отчетливо и ясно, как все у нее внутри заполнилось страхом. Получается, это теперь навсегда?! Всегда она теперь будет жить, как пустота на душу положит, и ничто больше не освободит ее душу от этой пустоты, и пение не освободит тоже, потому что оно стало рутинным занятием, и как же это произошло, и когда же произошло?.. И если она не заметила, как это произошло, то и нечего злиться, что ей выносят за ее пение еду, как приبلудной кошке, и не провожают домой, и...

Саша почувствовала, что сейчас в голос разрыдается. От пения слезы всегда вставали у нее в горле, она знала об этом и обычно закрывалась после концерта на некоторое время в гримерной, чтобы успокоиться. Но сейчас закрыться негде, и она сама в этом виновата, надо было расспросить Гришку, что такое это Волынское, а не полагаться на его слова: «Ну, знаешь, это где ближняя дача Сталина», – и не полагать, что концерт состоится в каких-то ампириных покоях тирана, на которые, кстати, интересно будет взглянуть. И вообще, с концертными предложениями надо отправлять к своему агенту всех без исключения, и ни при чем здесь студенческое прикрытие, и сама, дура, виновата!..

Саше казалось, что она идет прямо к выходу из парка. Но ворот все еще не было видно, и не требовалось большого ума, чтобы сообразить, что идет она, значит, куда-то не туда.

Надо было вернуться к павильону – музыка, гремевшая в нем, была еще слышна, хоть и вдалеке, – и попросить, чтобы ее проводили к машине. Но Саша и вообще не любила кого-то о чем-то просить, и тем более не хотела делать это после того, как ей вынесли пайку в плошке.

Она огляделась. Кругом ни зги не было видно.

«Просто тьма египетская», – подумала Саша.

Библейский рассказ про тьму египетскую она едва помнила – мысль ее была связана скорее с рассказом булгаковским. Да и неправильная это была вообще-то мысль: холод превратился уже в настоящий мороз, пар шел у нее изо рта, и при чем здесь в таком случае Египет?

А при том, что все это мысли из пустого потока жизни.

За поворотом аллеи появилась темная фигура. Ну а какая же еще фигура может появиться в темноте?

– Скажите, пожалуйста, как пройти к воротам? – громко спросила Саша.

Встречный не ответил. Их даже двое было, оказывается – второй был пониже ростом, поэтому фигуры сливались в одну, какую-то полувысокую и полуширокую.

Этот встречный, единый в двух фигурах, на Сашин вопрос не ответил. Наверное, сам искал выход из парка. Она пожала плечами и пошла дальше, собираясь пройти мимо него. Но он двигался прямо ей навстречу, не сворачивая.

Чтобы с ним не столкнуться, Саша остановилась, сделала шаг в сторону. Ей вдруг стало не по себе наедине с этим двуединым существом. Кирка Тенета когда-то читала стихи Рубцова: «Лучше разным существам в местах тревожных не встречаться». Может, парк в Волынском не являлся таким уж тревожным местом, тем более что в него и проникнуть-то, минуя охрану, было невозможно, однако ощущение опасности стало острым, и с ним надо было что-то делать.

Но что с ним делать, Саша придумать не успела. Подойдя к ней совсем близко, существо вдруг как-то рванулось, прынуло – и распалось наконец на двух человек, и эти два человека в мгновение ока оказались по обе стороны от Саши.

– Эй, вы что? – воскликнула она.

По-прежнему не произнося ни слова, те схватили ее за локти. Они держали очень крепко, это чувствовалось даже сквозь меховой палантин. Она рванулась из их рук, но сразу же вскрикнула от боли.

– А ну стой! – произнес один из них, высокий.

– Шубу снимай, – выдохнул второй, низкий.

Так вот что, оказывается! Самые обыкновенные грабители. Правда, первые, которых Саша видит в жизни, но, в общем, ничего особенного.

Не палантин жалко, хотя бриллиантовая норка ей очень нравится, к тому же штучка дорогая и куплена в Париже, здесь такой не найдешь. Но самое противное заключается все же не в потере палантина, а в том, чтобы безропотно раздеваться по требованию каких-то ублюдков.

Ну да, знала Саша, знала, что именно так и следует поступить, об этом только из утюга не предупреждали, но вся ее натура протестовала против этого так яростно, что она непроизвольно воскликнула:

– Да пошли вы!.. – и снова рванулась из их рук.

Ее очередной рывок не возымел, конечно, никакого действия. Или нет, возымел все же: свободной рукой высокий коротко размахнулся и ударил ее по лицу. Ее локтя он при этом не выпустил, и, вскрикнув от неожиданности и боли, Саша осталась трепыхаться между ним и низким. Во рту у нее при этом стало солоно: он ударил хоть и без замаха, почти и не ударил даже, а просто ткнул ладонью в лицо, но при этом рассек ей губу.

– Не хочешь по-хорошему, давай по-плохому, – сказал при этом низкий. – Только не ори, а то всю морду разобьем, пока охрана добежит.

И, проговорив все это быстро и шепеляво, стал шарить у Саши по груди, разыскивая застёжку палантина.

– Ты че ее лапаешь? – недовольно заметил высокий. – Быстрее, а то и правда заорет.

Все это они произносили деловито, без тени каких-либо эмоций. Даже без вождения, которого можно было бы ожидать от грабителей, предчувствующих поживу.

– Не заорет, – хохотнул низкий.

Его хамский уверенный тон показался Саше таким омерзительным, что она наконец очнулась от оцепенения, в которое ее ввел неожиданный, неожиданный удар в лицо. И немедленно заорала – так громко, что у самой в ушах зазвенело.

– Ах ты!.. – зло матюкнулся низкий.

И, отпустив Сашин локоть, одной рукой обхватил ее за плечи, а другой зажал ей рот.

– Не вздумай кусаться, сука, а то задушу! – хрипло предупредил он.

Но она уже не воспринимала угрозы. Ярость, охватившая ее, была так безрассудна и так ослепляюще сильна, что она кусалась, рвалась и кричала изо всех сил. Правда, из-под зажавшей ей рот ладони вырывался при этом не крик, а только сипение.

Но разъярила она их своим сипением достаточно.

– Подержи ее! – задыхаясь, бросил низкий. – Ко мне разверни!

Высокий рванул Сашу за плечи, разворачивая ее лицом к своему подельнику. Тот отнял ладонь от ее рта, и прежде чем она успела закричать во весь голос, ударил ее снова, теперь уже не легким тычком, а по-настоящему, кулаком.

Он метил Саше в лицо, но она успела не отшатнуться даже, а как-то качнуться в сторону, и удар пришелся не в переносицу, а по скуле. Впрочем, и такого касательного удара было достаточно, чтобы в голове у нее словно звезда взорвалась. Она вскрикнула уже не для того, чтобы позвать на помощь, а просто от боли.

И от этого вскрика тот грабитель, который держал сзади, вдруг отпустил ее! Он охнул, глухо и коротко, и шатнулся назад, и упал на спину. Это было настолько неожиданно, что Саша тоже не смогла устоять, тем более на высоких каблуках. Она упала спиной прямо на грабителя, сразу же извернулась, откатилась в сторону, с асфальта на покрытую палой листвой траву, и только там наконец застыла, сжавшись, не понимая, что произошло и что теперь будет.

Способности думать у нее не осталось, только инстинкт самосохранения. Да еще зрение обострилось – от удара, может. Поэтому все происходящее наallee она видела теперь так отчетливо, как будто не человеком была, а каким-нибудь лесным зверем, способным видеть в темноте.

Снизу, с земли, это происходящее казалось ей битвой великанов. Сначала их было двое – высокий грабитель еще корчился на асфальте. Но потом он вскочил и присоединился к драке. Теперь первые двое грабителей нападали на третьего, то есть что это она, кто сказал, что этот третий тоже грабитель? Кажется, он как раз таки отбивался от них, но стоило Саше понять, что он отбивается, как она тут же и увидела, что он нападает сам, а тот, который бил ее по лицу – низкого роста, поэтому Саша понимала, что именно он, – падает от его удара, и вскакивает опять, и бросается к этому новому неизвестному человеку – непонятно, вступился он за нее или сам вместе с ними? – и высокий тоже к нему бросается, и невозможно разобраться во всех этих движениях, стремительных и путаных, понятно только, что сейчас они его собьют и, может, убьют...

– У него пистолет! – услышала Саша хриплый сбивающийся возглас.

И сразу же пистолет увидела – в руке у этого третьего, который непонятно откуда взялся и от которого непонятно чего ей ожидать. Пистолет был направлен на высокого грабителя.

– Э, ты че?! – коротко и испуганно выдохнул он.

И, не дожидаясь ответа, бросился бежать. Второй, низкий, последовал за ним. Несколько секунд слышен был стук их подошв по асфальту, потом наступила тишина.

Только далекая музыка звучала в павильоне – Саша снова начала ее слышать, и острый запах осенней палой листвы начала чувствовать, и саму листву, холодную и живую, под своими ладонями. Все пять ее чувств восстановились разом, и прибавилось к ним еще неизвестное шестое, но она не могла понять, какое именно.

Она вскочила, оскользнулась и чуть не упала снова.

– Осторожно! – сказал человек с пистолетом и шагнул к ней.

Она побежала бы, но от выстрела все равно ведь не убежишь. Разум восстановился так же, как чувства, и удержал ее на месте.

Наверное, он понял, о чем она думает, – спрятал пистолет за пазуху и сказал:

– Не бойтесь.

Его голос звучал спокойно, и Саша успокоилась.

«Он спортсмен, наверное, – подумала она. – Только что дрался, а дыхание не сбито».

– Я не боюсь, – сказала она.

– Да, вы не робкого десятка.

Ей показалось, что он улыбнулся; в точности это нельзя было понять из-за темноты.

- Откуда вы знаете? – спросила она.
- Они вам приказали не кричать, а вы им назло закричали.
- Мне нельзя приказывать.
- Извините, я не мог добежать быстрее.
- Я не в обиде.

Саша наконец улыбнулась тоже. Все, что связано с человеческим голосом, она чувствовала во всех тонкостях. Его голос звучал с совершенной естественностью, и нельзя было не улыбнуться в ответ на его улыбку.

– Вы и так успели вовремя, – сказала она. – Спасибо. Вы охранник?

– Нет.

– А почему у вас пистолет?

– Случайно. Оказалось, это правда, что пистолет и доброе слово убеждают лучше, чем просто доброе слово.

Это явно была какая-то цитата. Саша терпеть не могла удачного цитирования к случаю, но естественность его интонаций была существеннее, чем нарочитость чужой фразы.

– И кто же это сказал? – все-таки поинтересовалась она.

– Аль Капоне.

В его голосе мелькнуло смущение. Похоже, он тоже понял, что его слова прозвучали слишком кстати. Саше понравилось, что он это понял. Ей вообще понравилось его появление – еще бы! – и эффектность этого появления ничуть не мешала приятному от него впечатлению.

– Вы гангстер? – спросила она.

– Нет, – совершенно серьезно ответил он.

Тут Саша не выдержала и рассмеялась.

– Да, гангстеры такие не бывают, – согласилась она.

– У вас есть знакомые гангстеры? – хмыкнул он.

– Ну, если только сегодняшние. Правда, познакомиться мы толком не успели.

Теперь, когда потрясение окончательно прошло, Саша почувствовала, что скула, которую доморощенный гангстер сумел задеть кулаком, болит довольно сильно. И губа еще!.. Хороша же она сейчас с распухшей губой!

– У вас сумочка была? – спросил он.

Она ахнула. Конечно, у нее был с собой клатч и, конечно, теперь его нет! И палантина тоже нет. Как ни поспешно убегали грабители, а прихватить с собой ее пожитки не забыли.

– Можно я вам салфетки дам? – спросил он. – И воду. И куртку. А то на вас смотреть холодно.

Прежде чем Саша успела ответить, он достал из кармана своей штормовки пачку бумажных платков и маленькую бутылку воды. Потом снял штормовку и надел на Сашу.

Штормовка была плотная, как картон. Точно такую привез однажды из сибирской экспедиции папин брат, геолог. Саша училась тогда в десятом классе и надела ее в поход, а потом долго считала это одним из самых удачных поступков своей жизни, потому что из всего класса только она спаслась от невыносимых комариных туч.

Штормовка была теплая и тяжелая. Саша этому удивилась, но тут же поняла, что чувствует тепло человека, а не ткани, и тяжелая эта штормовка потому, что в ее многочисленных карманах лежат разнообразные полезные предметы вроде воды, платков и пистолета.

– Спасибо, – сказала она.

Он скрутил крышечку на бутылке. Вода с шипеньем брызнула во все стороны.

– Извините, – сказал он, быстро отводя руку с бутылкой в сторону. – Газированная, и взболталась еще.

Он говорил что-то очевидное и обыденное, его слова явно относились к тому пустому потоку жизни, о котором Саша с такой тоской, с таким страхом думала пятнадцать минут назад.



Но теперь она никакой тоски не чувствовала, и страха не чувствовала тоже.

«Драка, видимо, взбодрила», – весело подумала она.

Саша вынула из пачки бумажный платок, он налил на него воды, она приложила платок к губе.

– И вот сюда еще, – сказал он, вытянул из пачки второй платок, намочил его и приложил к ее скуле.

Похоже, он, как и она, волшебным образом обрел способность видеть при одном только звездном свете. А, нет, не при звездном – луна взошла; это она в пылу борьбы не заметила просто.

«Кроме мордобития, никаких чудес», – подумала Саша.

Все веселее ей становилось, и все менее могла она объяснить причину своего веселья, и все менее хотела себе ее объяснять. Ну да она никогда и не была любительницей покопаться в собственном сознании. Это Кира у них обожала выявлять причинно-следственные связи, где надо и где не надо.

– Бодягу надо бы приложить, – сказал он. – Она синяки убирает.

– Что-что приложить? – удивилась Саша. – Бодяга – это же тягомотина.

– Это водяной мох. Девичьи румяна. Мама мне в детстве всегда прикладывала.

– Дрались, видать, часто, – заметила Саша. – А почему румяна?

Она не удивилась бы, если бы бодяга тоже нашлась в одном из карманов его штормовки.

– Дрался не чаще необходимого. – Он пожал плечами. – А почему румяна, не знаю. Наверное, она для цвета лица полезная, бодяга. – И спросил, отнимая платок от ее скулы: – Вы куда шли?

– К воротам.

– Это в другую сторону.

– Я уже поняла, – кивнула Саша. – Просто от досады дорогу перепутала.

– Давайте я вас провожу, – сказал он. – Меня Сергеем зовут.

– Александра.

Они пошли по аллее.

– Платье у вас такое... – сказал он. – Шумное.

– А стихи есть, – вспомнила Саша. – «В шумном платье муаровом вы проходите морево».

Игорь Северянин.

Она сказала это и удивилась: надо же, сама цитирует к случаю. Но так же, как его слова про пистолет и доброе слово, это не показалось ей сейчас нарочитым.

– Странные стихи, – заметил Сергей.

– Что странного?

– Ну, не странные, это я неточно сказал. Мне за себя странно – что я их сразу понял, – объяснил он. – Хотя как это, проходить морево, вообще-то непонятно. – И спросил: – А почему вы шли в досаде?

Ей вот не стихи странны были, а его вопрос. В его голосе не слышалось стремления обаять и покорить. Саша отлично распознавала это нехитрое мужское стремление и ставила его не выше такого же нехитрого женского кокетства. Да, в голосе Сергея его не было точно. Потому она и удивилась – если он покорять ее не стремится, то какое ему дело до причин ее досады?

– Потому что моя жизнь стала пустой, – ответила Саша.

Вот если что и должно было показаться ей странным, то этот неожиданно откровенный ответ. Хотя – надо ли удивляться? Люди вон случайным попутчикам, с которыми в аэропорту ожидают задержанного рейса, такое о себе рассказывают, что отцу родному не расскажешь, и именно с посторонними попутчиками откровенность всего естественнее. А попутчик, с кото-

рым она идет сейчас по осенней аллее, все-таки не совсем посторонний уже: от гангстеров ее защитил, и штормовка его на ней.

– А откуда у вас пистолет? – спросила Саша.

Ей не хотелось, чтобы он усмехнулся случайно вырвавшемуся у нее признанию или стал расспрашивать, что оно означает, потому она и поспешила сменить тему.

– В лесу нашел, – ответил он.

Похоже, ему тоже не хотелось, чтобы она стала расспрашивать его о том, что узнала о нем случайно – что у него пистолет имеется, например. Может, он все-таки гангстер, и понятно, что обсуждать это ему неохота.

Так, не задавая друг другу лишних вопросов, дошли они до ворот.

Сергей спросил:

– Может, вас в больницу отвезти?

– Зачем? – удивилась Саша. И тут же улыбнулась: – Бодягу приложить?

Она уже и забыла про свои боевые ранения.

– Укол против столбняка сделать, – ответил Сергей.

– У меня прививки, – сказала Саша. – От столбняка, наверное, тоже есть. Я когда в Америке на гастролях была, то страховая компания потребовала сделать.

– Вы актриса? – с интересом спросил он.

Его социальный статус был ей непонятен. Утонченного впечатления он не производил – слишком размашистый рисунок глаз и губ, – но сказал «актриса», а простые люди всегда «артистка» говорят. Саша тоже спросила бы, кто он такой, но вспомнила, что на посторонние вопросы он отвечает скупой, и не стала спрашивать.

– Певица, – ответила она.

– Джазовая?

– Почему джазовая? – удивилась Саша.

– Так. Я джаз люблю. Вы сказали – Америка, и я сразу про Новый Орлеан подумал.

– В Новом Орлеане я была. Но не пела, а просто так.

– Там, говорят, хоронят весело, – заметил он.

Саша не удивилась такому замечанию. Раз он любит джаз, то неудивительно, что знает про особенности новоорлеанских похорон.

– Ага, – кивнула она. – Как Армстронг себя завещал похоронить, так теперь и всех хоронят. Костюмы на покойниках белые, катафалки тоже, джаз наяривает, и вся процессия приплясывает. Прямо завидно – сам бы так умер.

Они вышли из парка. Саша огляделась. Машины, которая ее сюда привезла, в обозримом пространстве не было. Телефон, в котором запечатлелся номер водителя, остался в украденном клатче. Там же остался и кошелек, и конверт с гонораром.

– Где ваша машина? – спросил Сергей.

– Черт ее знает, – сердито ответила она. – Может, ее и не было.

– Не на метро же вы приехали. – Он улыбнулся. – В шумном платье муаровом.

Улыбка у него была, конечно, хорошая, но Саше от этого легче не стало.

– Здесь такси бывают? – еще сердитее спросила она. – Или на чем здесь теперь ездят?

– Здесь – это где?

– В Москве, в Москве. Я от нее отвыкла.

«И привыкать не собираюсь», – вспомнив хмурую официантку и ужин, поданный в закуток, подумала она.

И сразу же увидела такси – натуральное, с «шашечками» на крыше. Оно остановилось у въезда в парк, и из него стал выбираться пассажир.

– Подождите! – воскликнула Саша. – Меня возьмите!

Она всю жизнь ходила на каблуках, так что до машины добежала в мгновение ока; другие и в кроссовках так быстро не бегают. Сергей, впрочем, слегка ее опередил.

Он открыл перед ней дверцу.

– Спасибо, – сказала она. – Если бы не вы, пришлось бы мне про девичий румянец забыть. И за штормовку тоже спасибо.

Саша сняла штормовку. Холод сразу охватил ее. Она отдала штормовку Сергею, быстро поцеловала его в щеку – щека была колкая, она у многих мужчин такой становится к вечеру, но у него еще и пахла хвойными иголками, как будто он был каким-нибудь кедром, – и села в такси.

Ничего хорошего с ней в этот вечер не произошло, совсем даже наоборот. Но досада мешалась у нее внутри с весельем, и добавлялась к этому непонятная решимость – на что решимость, интересно? – и очень странный, очень будоражащий получался коктейль!

## Глава 4

О том, что в клатче были еще и ключи, Саша вспомнила только у своего подъезда. Думала попросить водителя подождать пару минут, пока она поднимется в квартиру за деньгами, да вовремя сообразила, что не так все просто. Главное, и в залог ведь нечего оставить, пока найдет, у кого занять деньги. Не бриллиантовую же булавку таксисту оставлять.

Саша коснулась корсажа, к которому была приколотая булавка, и поняла, что оставить ее не смогла бы, даже если бы и захотела: булавок на корсаже не было. Повезло грабителям, что и говорить!

– Послушайте, – сказала она таксисту. – Я не убегу, честное слово. Я только... – И тут же, не договорив, распахнула дверцу машины и заорала: – Кирка! Кир! У тебя деньги есть?

Киру она заметила вовремя: та вышла из арки, в которой находился ее подъезд, и уже собиралась сесть в машину.

Дом был угловой – в подъезд, в котором жили Люба и Саша, надо было входить со Спиридоньевского переулка, а к Царю и Кире – с Малой Бронной. В детстве они все вечно спорили, которая из улиц лучше, и каждый, конечно, защищал свою. Хотя нет, Федор Ильич не спорил, его даже и невозможно было представить спорящим на такие бессмысленные темы.

Сейчас Кира вышла из арки не одна и не с Царем, а с каким-то парнем, высоким и плечистым. Царь тоже, правда, был высокий и плечистый, но в сорок пять лет рост и плечи выглядят все-таки иначе.

У того, которого Кира держала под руку, походка и стать были молодые.

Он обернулся прежде, чем Саша успела заинтриговаться, с кем это гуляет по ночам самая правильная женщина из всех, которых она знала в жизни, – и стало понятно, что это всего-навсего Киркин сын Тихон. Вот так вот они вымахивают в восемнадцать лет! Год не увидишь – не сразу и узнаешь.

Вообще-то Тихон был Кире не родным сыном, а приемным. История его усыновления была такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А как еще назвать историю, в которой женщина тридцати с лишним лет расстается со своим первым и единственным любовником – весьма, кстати, не бедным, в отличие от нее, – по такой малозначительной в данном случае причине, как несходство характеров, а через месяц этот оставленный любовник погибает, и совсем не из-за своей отвергнутой любви, а в авиакатастрофе, и тут выясняется, что у него имеется сын-подросток из тех, которых называют трудными, что до этого подростка никому теперь нет дела, а те, кому дело должно быть, за версту его, трудного, обходят? И что делает эта женщина в такой головокружительной ситуации? А женщина эта усыновляет невыносимого мальчишку. Хотя если бы месяцем раньше выстроили в ряд сотню женщин и спросили бы, кто из них меньше всего подходит для подобной роли, то из строя первой вышла бы именно она – терпеть не могущая не то что трудных подростков, но любых детей вообще, и вдобавок незамужняя. И вот решает она усыновить этого никому не нужного ребенка, а через некоторое время выясняется, что одновременно со свидетельством об усыновлении она получает свидетельство о браке, причем с мужчиной, которого в последнюю очередь можно было представить ее мужем, а точнее, вообще невозможно его было им представить.

Этим Кириным неожиданным-негаданным мужем стал Федор Кузнецов. И она, и Люба, и Саша выросли с ним в одном доме и на одной даче, а Кирка так даже в одной коляске, которую родители трехлетнего Феди отдали в день Кириногo рождения ее новоиспеченным родителям. И, точно как в истории с приемным мальчишкой, если бы незадолго до замужества спросили Киру, кто меньше всех подходит на роль ее супруга, она наверняка назвала бы именно Федора Кузнецова, и именно потому, что невозможно женщине спать в общей постели с мужчиной, с которым на заре своей жизни она спала в общей коляске.

И вот чем все это объяснить? Ничем, кроме неисповедимости путей, которыми все они шли-шли, куда каждого из них вела судьба и совесть, и пришли таким образом друг к другу.

Десять лет назад, когда происходили все эти бурные перипетии, Кира молчала об их подробностях и причинах, как партизанка на допросе. И только потом, когда и сама она, и все окружающие к произошедшему привыкли, обмолвилась Саше с Любой, что любовь поразила их с Федькой посильнее булгаковской молнии и финского ножа, и никогда в жизни, ни до, ни после этого, они оба не испытывали такой растерянности, как при явлении этой неожиданной любви.

Представить хоть Киру Тенету, хоть Федора Кузнецова растерянными Саша не могла. В отличие от нее самой они были оплотом здравого смысла и логики, а Федька вдобавок относился к числу тех людей, которые в любых ситуациях принимают окончательные решения. Своих решений он никогда никому не навязывал, но все сами подчинялись ему с охотой. Эта его способность была такой же данностью, как Сашин талант, или Любина житейская практичность, или Кириным ум.

Еще когда он пошел в первый класс, то Нора, Любина мама, сказала, что Феденька будет крупным руководителем, и никто не стал с ней спорить. А кем же еще ему быть и кому же быть крупным руководителем, если не ему?

По мужской линии все в семье Кузнецовых чем-нибудь руководили. Его отец был главным врачом Боткинской больницы, а прапрадед даже экономическим министром при последнем царе, или не министром, но кем-то вроде. Должность прапрадеда в соединении с личными качествами Феди Кузнецова и породила прозвище Царь. Так его называли с самого детства и с детства же называли Федором Ильичом – из-за особенных личных качеств. Вот этих самых, благодаря которым он принимал окончательное решение в любых обстоятельствах и принял его в обстоятельствах Киры и свалившегося ей на голову трудного ребенка.

Этот трудный ребенок и шел сейчас рядом с Кирой, и она почему-то держала его под руку, хотя на улице не было ни льда, ни снега.

– Кирка! – громко повторила Саша. – Дай, пожалуйста, денег, мне за такси нечем заплатить!

Ей хотелось, чтобы все это наконец закончилось. Весь этот бессмысленный вечер с бессмысленным пением, унижением, ограблением и, главное, ощущением бессмыслицы собственной жизни.

– Ой, Саш! – издали, от ведущей во двор арки, воскликнула Кира. – А я не знала, что ты приехала!

– Приехала, приехала! – еще громче закричала Саша. – Деньги давай!

Она увидела, как Кира расстегивает сумку и дает Тихону кошелек, а тот идет к такси, протягивая кошелек Саше.

Тихонова погибшего отца Саша никогда не видела, но знала, что мальчик похож на него. И при взгляде на этого мальчика понятно было вообще-то, почему Кирка с тем человеком рассталась. Лицо его сына словно топором было вырублено, и если бы не внимательный, разумный взгляд маленьких, глубоко посаженных глаз, то ничего в нем не было бы такого, что может привлечь внимание сколько-нибудь незаурядной женщины.

Саша расплатилась и, выбравшись наконец из машины, вместе с Тихоном направилась к Кире, которая стояла возле арки так растопыренно и неуверенно, будто в самом деле у нее лед под ногами и она боится поэтому упасть.

– Привет, – сказала Саша, подходя к ней. – Я позавчера приехала. Ни к тебе зайти еще не успела, ни к Любе. У тебя как дела?

И, еще проговаривая последние слова, поняла, что на этот вопрос подруга ее детства, человек из тех первых людей, которых она узнала в своей жизни сразу же, как только вынырнула из младенческого бессознания, – может и не отвечать.

Как у Кире дела, видно было по огромному животу, который она обхватывала обеими руками, словно опасалась потерять.

– Ки-ирка!.. – Все переживания этого вечера у Саши разом улетучились. – Вот это да!.. Вот это ничего себе!..

Она кричала, вопила и, кажется, даже приплясывала от восторга, как папуас! Кажется – потому что в первые мгновения после сногшибательного открытия не вполне соображала, что делает.

– Саш, ну ты что?

В Кирином голосе слышалась растерянность. Вероятно, точно такая же, как десять лет назад, когда ее поразила любовь к Царю.

– Это я – что?! – еще громче заорала Саша. – Это же ты – что! Ты на себя посмотри только!

– Что? – Кира послушно взглянула на свой живот. – Очень ужасно выгляжу, да? Я, знаешь, уже отвыкла толстой быть, а теперь вот опять пришлось.

Все их детство, всю юность Кира страдала из-за своих габаритов. Она была похожа то ли на пышку, то ли на курицу – маленькая, пухлая, и на голове что-то вроде взъерошенных пестрых перьев. Саша даже удивлялась: почему Кирка не направит свою железную волю на спорт и отказ от сладкого? В два счета похудела бы. И только когда у нее появился первый мужчина, отец вот этого самого Тихона, Кира наконец преобразилась: и вес сбросила, и прическу поменяла, и сразу оказалось, что она если не красавица, то женщина оригинальной внешности – точно.

Что Кира преобразилась именно из-за мужчины, вызывало у Саши недоумение. Мужчин-то много, а ты-то одна, и если ты можешь совершить над собой усилие из-за людей многих и посторонних, то почему из-за себя самой, единственной и не посторонней, никак этого сделать не могла? Загадка!

– Никакой загадки, – пожала плечами их третья подруга, Люба Маланина, когда Саша однажды поделилась с ней этими соображениями. – Стараться быть красивой ради себя самой – это полной дурой надо быть. Дурой никчемной, – уточнила она.

– Ну, не зна-аю... – протянула Саша.

– А откуда ты можешь это знать? – усмехнулась Люба. – Ты-то и так красавица, тебе и стараться не надо.

Что она красавица, Саша знала с детства. И с детства же собственная красота не вызывала у нее никакого восторга. Даже когда все девчонки рисовали на обложках школьных тетрадок прекрасных принцесс с огромными глазами и роскошными локонами, она не испытывала удовольствия от того, что моделью для этих рисунков выбирали ее. А уж потом, годам к четырнадцати... Разве нормальному подростку придет в голову радоваться тому, что взрослые называют его «чистейшей прелестью чистейший образец», будто покойницу из древних времен? И девчонки все завидуют вдобавок. Хороша радость! Саша и не радовалась. Ладно хоть, при пепельных локонах глаза у нее не голубые, а все-таки темно-серые – меньше на куклу похожа.

Так что Кире, по Сашиному мнению, очень даже повезло не родиться красавицей. А уж теперь-то, с таким-то замечательным пузом, стоит ли ей вообще думать о том, как она выглядит?

– Брось, Кирка! – засмеялась Саша. – Родишь – похудеешь. А кого ты родишь? – с интересом спросила она.

– Мальчика.

– Ну да!

– Ага. Я, конечно, девочку хотела. Но, может, и лучше, что мальчик.

– Почему «конечно» и почему «лучше»? – поинтересовалась Саша.

– «Конечно» – потому что мальчик уже есть, – с обычной своей обстоятельностью принялась объяснять Кира. – А «лучше» – потому что за девочку больше волнуешься.

– Разве? – удивилась Саша.

Сама она никогда не замечала в себе какой-то особенной слабости, отличающей ее от мужчин, и точно знала, что ничего подобного не видит в себе и Кирка. Почему же за девочку следует больше волноваться?

– Девочке труднее реализоваться в жизни, – объяснила та.

– Ты в феминистки, что ли, записалась? – усмехнулась Саша.

– Не в феминистки, а это неправда, что ли? Чтобы чего-то в работе добиться, надо ей отдаваться, ты и отдаешься, потом спохватишься, а в жизни, кроме работы, и нет ничего. Или наоборот, семья у тебя один свет в окошке, а потом спохватишься – дети разлетелись, муж молодую нашел, а ты клушка клушкой, и ничего своего.

Кира излагала все это с такой серьезностью, что Саша снова расхохоталась.

– Схемы твои, Кирка, примитивные, – отсмеявшись, сказала она. – В жизни все не так.

– А как все в жизни? – улыбнулась Кира.

Все-таки первая беременность в сорок лет – тяжелая штука, наверное. Лицо у Киры стало одутловатым, на лбу проступили пятна, и даже сейчас, когда она не двигалась, а стояла на месте, видно было, что и это ей тяжело.

Тихон, наверное, тоже это видел. Он держал Киру под руку так, как будто без этого она упала бы. Да и правда упала бы, может.

– А так, что Царь себе молодую вместо тебя не найдет, можешь успокоиться.

Саша легко догадалась, что Кирины размышления относятся, конечно, не к судьбе какой-то абстрактной девочки, а лишь к обстоятельствам ее собственной жизни.

– А ты почему в открытом платье на улице? – спросила Кира. – Певицам, если мороз или сырость, вообще из дому выходить нельзя, тем более с голым горлом, – авторитетным тоном добавила она.

– Ты-то откуда знаешь? – хмыкнула Саша.

– Читала. И вообще, это все знают. Вон, у тебя и губа уже от холода распухла!

Синяк на скуле Кирка в полутьме, наверное, не заметила. А что губа у Саши распухла совсем не от холода, ей и в голову, конечно, не пришло. Кира Тенета и уличные драки – две вещи несовместные, это уж точно.

Можно было, конечно, рассказать подружке обо всем, что случилось сегодняшним вечером. Но тут Саша почувствовала, что ее охватывает усталость, и ничего ей никому не хочется говорить, и ничего вообще не хочется.

– Спасибо, Кир, – еле разрывая эту усталость губами, сказала она. – Я потом к тебе зайду. Поболтаем.

– Заходи, – кивнула Кира. – Только я не дома. Мы пока еще в Кофельцах живем. Мне дышать велели.

Дачи в Кофельцах были вообще-то летние, и, как ни старались жильцы их утеплить, удавалось это плохо. Сносить их надо было, эти допотопные домишки, и строить вместо них новые, в которых можно было бы жить в холода без особых усилий. Но ни у кого не поднималась рука что-то здесь снести. Население дачного поселка состояло из тех, кого привезли сюда во младенчестве, кто пережил здесь первую любовь, и, главное, из тех, кто правильно понимал ценность такого рода чувств по сравнению с ценностью любых строений.

– Правильно тебе велели, – улыбнулась Саша. – Дыши.

– Да мы завтра уже в город перебираемся. И в Америку полетим. Как-то мне здесь рожать страшно, – объяснила Кира.

– Правильно, – снова одобрила Саша.

Кирину семейную жизнь трудно было назвать спокойной, несмотря на незыблемую надежность ее мужа и, судя по всему, сына тоже. Но работа этого незыблемого мужа была тесно связана со Штатами. Федька был экономическим консультантом высокого, как Саша понимала, уровня и проводил в Америке немалую часть своей жизни, и это, конечно, требовало от Киры особого образа жизни. Хорошо Саше перелетать по всему миру подобно легкокрылой бабочке, а каково это делать Кирке, когда у нее и Тихон, и газета, которой она руководит, и теперь вот еще отеки и одышка, и мальчик в огромном животе?

Тихон усадил Киру в машину, сел за руль. Однако! Хотя что особенного? Не Кирке же машину водить, беременной. Просто Саша не привыкла, чтобы кто-нибудь делал что-нибудь вместо нее и для нее, да она и не нуждалась в этом. Потому и удивилась, когда увидела, что незаметно выросший мальчик водит машину вместо Киры и делает это как само собой разумеющееся.



## Глава 5

Саша подошла к своему подъезду, взялась за дверную ручку... И снова вспомнила про ключи. Точнее, про то, что их у нее нет, и попасть наконец домой она, значит, не сможет.

Бывают люди, которых называют «тридцать три несчастья». У них все валится из рук, они вечно спотыкаются и падают на ровном месте, стоит им выйти из дому без зонтика, как тут же начинается дождь, причем кислотный, пролетающая птица роняет плюху прямо им на темя, и двери поезда в метро закрываются у них перед носом. Но Саша-то к этим людям никогда не относилась! Она даже пресловутого закона бутерброда не признавала, потому что если и роняла когда-нибудь бутерброды, то все они падали маслом вверх.

И что сегодня вдруг произошло, какие такие звезды перепутались у нее над головой, непонятно.

Правда, дверь тут же открылась, показалась незнакомая тетенька, и, прежде чем та успела возразить, Саша вошла в подъезд. Но когда она поднялась на пятый этаж, чтобы взять у Норы запасные ключи от своей квартиры, на ее звонок никто не открыл.

Люба всегда говорила о своей маме, о Норе то есть, что та живет как мышь за веником, далеко и надолго от дома не удаляется. А сегодня пожалуйста: ночь скоро – ее нет как нет!

Саша спустилась обратно на свой третий этаж и села на ступеньки. Оставалось только ждать – не догонять же. Хочется верить, что Нора к шестидесяти годам не завела себе мужчину и ночевать придет домой.

Она сидела и смотрела на ступеньки бессмысленным взглядом. Она знала эти ступеньки лучше, чем таблицу умножения. Все ее детство, вся юность прошли в этом доме. Да что там ее – и мамино детство здесь прошло тоже.

Кира утверждала, что их дом – лучшее здание в окрестностях. И не потому что это яркий образчик московского конструктивизма – разве в архитектуре дело, когда речь о доме родном? – а потому что он настоящий московский, и не старинный, и не современный, а ровно такой, как следует.

В двадцать седьмом году, когда этот дом построили для работников советского Госстраха, на крыше был розарий, и солярий, и чуть ли не павлины выгуливались. В этом розарии с павлинами выгуливали также и детей, в числе которых была Кирина бабушка Ангелина Константиновна. Через полвека она рассказывала своей внучке и ее друзьям, что с тех времен чудом уцелел домовый и что живет он теперь на чердаке. Все дети боялись домового, даже, кажется, Федор Ильич, не боялась только Люба, потому что в него не верила.

Это было – и это давно прошло, и навсегда прошло. И Кирина бабушка умерла, и Сашин дед, и разъехались по городу и миру их родители.

И вот теперь Саша сидит на ступеньках и думает, что неплохо было бы, если бы можно было оставлять ключи от квартиры домовому, тогда они были бы надежно защищены от грабителей, да и от всех житейских напастей.

Глуповатые это были размышления. Но разгоняли тоску.

Хлопнула дверь внизу. Раздались шаги. Саша прислушалась. Нет, не Нора – шаги мужские, хотя и не тяжелые.

Мужчина, поднимающийся по лестнице, был незнакомый. Но что-то в его облике было знакомо точно, хотя что именно, определить она не могла.

– Здравствуйте, – сказал он, останавливаясь перед Сашей.

– Здравствуйте.

Она кивнула с равнодушной вежливостью и подвинулась, давая ему пройти мимо нее. Но проходить он не стал.

– Я хотел вас сразу же поблагодарить, – сказал он. – Но не успел, к сожалению.

– За что поблагодарить? – не поняла Саша.

– За ваше пение.

Так вот что было ей знакомо в его облике! Ослепляюще белый свитер и черные глаза, которые смотрят так жарко, что кажутся неостывшими углями.

Он сидел за столом у полотняной стены павильона и смотрел на нее все время, пока она пела. А теперь он стоит перед нею на лестнице и снова смотрит не отрываясь. И, кажется, его нисколько не удивляет, что она сидит на ступеньках, да еще в концертном платье, да еще с опухшей скулой и разбитой губой. Во всяком случае, удивления нет ни в голосе его, ни во взгляде.

Это Саше понравилось.

– У вас чудесный голос, – сказал он. – Это вам.

Он протянул ей букет, составленный так, как не составляют букеты в киосках у метро. Значит, специально заходил в цветочный салон. Может, здесь же, на Малой Бронной; Саша, когда ехала на концерт, заметила какую-то незнакомую, увитую цветами витрину.

Она подумала о том, что опять в голове вертятся глупости, и сказала:

– Спасибо. Надеюсь, до тех пор, пока я попаду в квартиру, они не завянут.

– Вы забыли ключи? – поинтересовался он.

– Потеряла.

– Которая ваша дверь?

– Хотите взломать? – усмехнулась она.

– Можно вызвать спасателей, они вскроют.

– У меня паспорт в квартире, – сказала Саша. – А они без паспорта вскрывать не станут.

– Но как-то же вы собираетесь туда попасть. Ждете же чего-то.

– Вы мыслите логично, – снова усмехнулась Саша. И тут же подумала, что он вообще-то не дал ей никакого повода для того, чтобы над ним иронизировать. – Я соседку жду, – уже без усмешки объяснила она. – У нее запасные ключи.

– И когда же она придет?

– Понятия не имею. Она из дому редко выходит вообще-то. Но сегодня ее нет. Уж такой сегодня день.

– Он еще не окончен.

– Надеюсь. Надеюсь, что соседка все же вернется домой сегодня, а не завтра.

– Я не о соседке.

– А о чем?

Они перебрасывались словами, как жонглеры на арене. Его глаза блестели вороненым блеском. Все это будоражило и почти веселило. Даже то, что он не спрашивает, откуда у нее синяк на скуле, будоражило воображение.

«Может, потому и не спрашивает, – подумала Саша. – Интригует. Ну и пусть! Уж пошлости во всем этом нету точно».

– О том, что мы с вами не обязательно должны сидеть на лестнице, – сказал он.

– Мы с вами?

– Ну да. Я был бы рад куда-нибудь вас пригласить.

– В вашем павильоне есть замечательный закуток, – хмыкнула Саша. – Меня туда уже приглашали. И даже пытались там накормить. Плошки вынесли.

– Извините. – Он оторопел. – Я об этом не знал.

– А почему вы должны были об этом знать? – пожала плечами она.

– Потому что это я пригласил вас спеть на нашем празднике.

– Так это вы, значит, австрийский барон! – хмыкнула Саша.

– Какой австрийский барон? – удивился он.

– Неважно. Забудем.

– Нет, почему же.

Интересно, бывают вороненные лезвия? Саша подумала об этом, увидев, что глаза у него сузились и стали как ножи.

– Забудем, забудем, – повторила она.

Ей совсем не хотелось обсуждать с ним вопросы приличий и нравственности. Ей вообще ни с кем не хотелось обсуждать подобные вопросы, тем более что себя она образцом нравственности вовсе не считала.

– Так пойдете? – спросил он.

Отказ выглядел бы слишком демонстративно, раз уж он знает, что все равно она не может попасть домой.

«Мужчины летят ко мне сегодня, как пчелы на цветок, – подумала Саша. – Или как мухи известно на что. Так и норовят спасти, прямо наперебой. К чему бы это?»

– Как вас зовут? – поинтересовалась она.

– Извините! Зовут меня Филипп. Прошу вас, Александра.

Он подал руку, и, взявшись за нее, Саша встала со ступенек.

## Глава 6

Она так пригrelась в машине – узкой, серебристой, напоминающей спортивный болид, – что никакого ресторана ей было не надо. И общества этого мужчины – без сомнения, незаурядного, уж это человеческое качество Саша различала за версту, – не надо было тоже. Голова ее клонилась набок, она то и дело касалась виском стекла, и только это холодящее прикосновение не давало ей уснуть.

– Саша, – донеслось до нее сквозь неодолимую дрему, – может быть, вы не хотите в ресторан?

– Вы догадливый... – едва шевеля языком, пробормотала она. И, усилием воли заставив себя встрепенуться, добавила: – Да, правда. Отвезите меня обратно на лестницу.

– Зачем же на лестницу? Давайте здесь посидим.

Она глянула в окно машины. С Малой Бронной выехали на Садовое кольцо, но, оказывается, уже свернули с него и остановились теперь перед высоким массивным домом.

– А что это? – спросила Саша.

– Я здесь живу. Вон там, наверху.

При мысли о том, что не надо будет больше никуда ехать на ночь глядя, да и не на ночь глядя уже, а просто ночью, и можно будет просто сидеть в тепле – не холодно же у него дома, надо полагать, – Саша почувствовала такое удовольствие, что отказывать себе в нем было бы просто глупо. А жеманиться: «Что вы, что вы, я беспокоюсь за свою девичью честь!» – это она всегда считала крайним идиотизмом. Даже в далекие годы девичества, не говоря уж теперь.

– Что-нибудь выпить у вас есть, надеюсь? – сказала она. – Только крепкое. И молоко с медом. А то, боюсь, дорого мне сегодняшний концерт обойдется.

– Крепкое есть. Насчет молока не знаю.

– Пойдемте.

Саша вышла из машины и поняла, что они на Плющихе. Здание МИДа высилось прямо за домом, возле которого Филипп остановил свою машину.

Подъезд был ярко освещен. Дверь с жужжанием открылась, как только они поднялись на крыльцо.

Саша знала это странное ощущение – когда, войдя не в квартиру даже, а только в подъезд, ты словно в другой мир попадаешь. Оно никогда не возникало у нее ни в Европе, ни в Америке. Но в Москве, даже в такой лощеной, какой стала она в последнее время, возникало часто. Слишком уж отличался вот этот светлый, пахнущий весенней свежестью подъезд, в который она вошла, от московской осенней улицы, казавшейся неухоженной и какой-то неприкаянной, несмотря даже на чисто выметенный асфальт.

Саша чувствовала сонливость, пока поднималась рядом с Филиппом к лифту по широким ступенькам, и в лифте она ее чувствовала. Но стоило ей из лифта выйти, как сонливость исчезла. Как некстати! Она-то собиралась поскорее выпить водки и, если найдется, молока, выбрать какое-нибудь кресло поуютнее, да и подремать с полчаса в надежде на то, что Нора за это время вернется домой.

А теперь что же? Бодрость вряд ли скроешь. Придется под бокал вина вести беседу, такую же, как этот бокал, ненужную.

Филипп открыл дверь единственной квартиры на последнем этаже.

– Располагайтесь, Саша, – сказал он. – Сейчас молоко с медом поищу.

Она с удовольствием сбросила туфли – ноги уже гудели – и босиком прошла в комнату. Загорелся свет, и Саша едва сдержала восхищенный взглас.

Квартира оказалась пентхаусом. Жалюзи были подняты, и Москва во всей своей ночной красе сияла за окнами. Громада МИДа, блестящая отраженными огнями река, сверкающий

прозрачный мост, перекинутый через нее, площадь Европы с яркими флагами перед Киевским вокзалом, темно-алая церковь Михаила Архангела – Саша знала все это наизусть, как стихотворение, которое выучил в детстве и потом уже захочешь, не забудешь.

И все это счастливым напоминанием сияло, сверкало, переливалось в ночном воздухе за огромным, опоясывающим комнату окном.

Ступать по полу было тепло, как по летней земле, и так же податлив он был под босыми ногами, как живая земля.

Саша посмотрела под ноги. Пол был сделан из светлого пробкового дерева. Да и вся эта огромная гостиная была светлой, и все светлое, что в ней было – кресла, диван, овальный ковер с тонким цветочным узором, – излучало тепло. Каким загадочным образом достигался такой эффект, Саша не понимала, но пользоваться этим было приятно, и она выбросила из головы размышления о причинах и следствиях данного явления. Она всегда так делала; жизнь не раз доказывала ей, что это правильно.

Она уселась в кресло, накрытое белой шкурой, и вытянула ноги с ощущением абсолютного блаженства.

– Что сначала, алкоголь или молоко?

Филипп возник перед нею, как лист перед травой из детской сказки. Он не только возник сам, но и прикатил столик, на котором были представлены все предлагаемые радости: многочисленные бутылки коньяка, виски и еще каких-то, явно крепких, напитков, можайское молоко в пузатенькой бутылочке, а также тусок из бересты – с медом, надо полагать. На этом же столике стояла спиртовка.

– А спиртовка зачем? – спросила Саша.

– Молоко, я так понимаю, должно быть горячее? Подогреем.

Что и говорить, из промозглой осенней тьмы явился перед нею идеальный мужчина. Будь Саша не Саша, а, например, Кира Тенета или Люба Маланина, она этому, наверное, удивилась бы.

А может, и ее девчонкам это не показалось бы странным. Любе – вследствие несентиментальной проницательности, а Кире – потому что она не поверила бы, что такое бывает на свете.

Саша знала, что на свете бывает все и что удивляться этому не стоит.

– Сначала давайте виски, – сказала она. – Пока молоко подогревается.

Филипп плеснул виски в стакан – такой прозрачный, что его легко было не заметить вообще, потом налил молоко в блестящую металлическую чашку, поставил ее на решеточку над фитилем спиртовки, щелкнул зажигалкой... Саша пила виски медленно, как вино – так лучше согревает, проверено, – и, прикрыв глаза, разглядывала Филиппа.

Необходимости его разглядывать, впрочем, не было. Впечатление о нем Саша составила себе с первого взгляда и теперь лишь убеждалась, что оно было правильным.

Подсвеченное синим огоньком спиртовки, его лицо казалось таким же тонким, и так же играло оно всеми своими чертами, как в тревожном свете газовых горелок в полотняном павильоне и в тусклом свете лампочки у Саши в подъезде. Возможно, в такой тонкости было однообразие, но оно не досаждало и не нагоняло скуку. А это уже немало.

– Какую музыку вы любите? – спросил Филипп.

Саша улыбнулась.

– Неуместный вопрос? – поинтересовался он.

– Просто вспомнила, как один мой знакомый, барселонский импресарио, знакомился с девушками на дискотеках. Он сразу спрашивал, нравится ли им здешняя музыка. И если они говорили, что не нравится, то предлагал: давай пойдем ко мне домой, у меня дома музыка лучше. А если тебе не понравится моя музыка, то ты оденешься, и мы уйдем.

– Счастливый, должно быть, человек, – заметил Филипп.

– Был счастливый.

– Почему был?

– Недавно прислал письмо. Пишет на пяти страницах, что превратился в бабочку. Оказывается, в аварию попал на мотоцикле, мне потом рассказали.

– Радужные перспективы вы для меня рисуете! – хмыкнул Филипп.

– Почему для вас? – пожала плечами Саша.

– Вы же из-за меня об этом своем знакомом вспомнили.

– Просто по ассоциации.

– Причудливые у вас ассоциации!

Перебрасываться с ним язвительными репликами было интересно, потому что в его ироничности сказывался ум, а не злость; это Саша тоже отметила с первых минут знакомства. И прекращал он ироническую болтовню сам, и вовремя.

На этот раз он прекратил ее потому, что снова занялся спиртовкой – снял металлическую чашку с огня и перелил из нее молоко в другую, фарфоровую. Когда Саша взяла у него из рук эту тонко расписанную чашечку, ей показалось, что у нее в руке цветок, и не роза на тяжелом стебле, а невесомая фиалка.

– Мед алтайский, – сказал Филипп, открывая туесок. – Горный и экологичный.

Все это он делал так непринужденно, что Саша сразу поняла: живет один, но домашние обязанности лежат не на нем, то есть он просто оплачивает их исполнение. Догадаться об этом было нетрудно: если бы он был женат, то вряд ли обращался бы с предметами обихода так умело, а если бы вынужден был справляться с этим обиходом самостоятельно и постоянно, то к своему возрасту был бы не умелым, а мелко суетливым.

– А я вот готовить не умею, – сказала Саша, слизнув с ложки мед и запив его горячим молоком.

– Это вы к чему говорите? – усмехнулся Филипп.

– Просто по ассоциации.

– По какой на этот раз?

– Лет сто назад я первый раз приехала в Вену. На стажировку, как только консерваторию окончила. И сразу же, понятное дело, подружилась со всей Венской консерваторией, и всех своих друзей, а заодно и соседей, кто помоложе, в первые же выходные позвала к себе в гости. Как у нас водится, не в кафе, а прямо домой.

– В Москву?

– Если бы! В Москве у мамы руки правильно приставлены, в отличие от меня. Готовить я не умела, денег, чтобы в ресторане еду заказать, у меня тогда не было и помину.

– И как же вы обошлись?

– Сделала курицу на соли. Везде же пишут, что это блюдо для ленивых хозяек, потому что готовится само собой.

– Приготовилось?

– Еще как! Курица вся соляной коркой покрылась, как окаменелость юрского периода. Я ее колотила ножом, какими-то щипцами, молотком – ни малейшего эффекта.

Он расхохотался и сквозь смех проговорил:

– Хороши вы были с курицей и молотком в руке!

– Ничего хорошего во мне не было.

– Я, между прочим, в прямом смысле говорю. Вы наверняка сердились, и это усиливало вашу красоту.

– Я была злая, красная и растрепанная.

Саша вспомнила еще, что от досады и соляных осколков, летящих из-под молотка, из глаз у нее тогда лились слезы. Красота, что и говорить, была неопиcуемая!

– И что же вы придумали? – с интересом спросил Филипп.

– Откуда вы знаете, что я что-то придумала?

– Уверен. Вы придумали что-то неожиданное и экстравагантное.

– Вот это точно! – Саша и сама улыбнулась. – Поднялась к себе в комнату – я у дедовых знакомых жила, в прехорошеньком австрийском домике, в мансарде, – и со всей дури швырнула курицу из окна на каменные плиты перед крыльцом.

– И что?

– Мышка бежала, хвостиком махнула, курица упала и разбилась. Тут как раз и гости подоспели. Я осколки собрала, на блюдо императорского фарфора выложила, и мы выедали курицу из соляной корки ложками.

– Догадываюсь, что ваши гости до сих пор вспоминают тот прием как один из лучших в своей жизни.

– Тут и догадываться нечего. Они такого даже во сне не видали. Конечно, вспоминают с восторгом.

О том, что за одного из тогдашних гостей она вскоре вышла замуж, Саша говорить не стала. Никому не нужны подробности жизни посторонних людей. И воспринимаются они не как подробности, а как проблемы, и навязывать их поэтому отчасти неприлично, отчасти бессмысленно.

Неизвестно, что подействовало больше, молоко, мед или виски, но она наконец пришла в то блаженное состояние полного покоя, которого ей удавалось достичь нечасто. В силу темперамента, к покою не склонного.

А теперь – действительность струилась сквозь нее, как река, текущая молоком и медом – не сбылось то библейское обещание, неласкова оказалась земля обетованная к жаждущим ее, а вот она, не земля, а женщина Александра, наполнена сейчас самым настоящим блаженством... и молочными реками... и кисельными берегами...

Что за бред! Саша тряхнула головой и вынырнула из грез в действительность. Впрочем, действительность была не менее приятна, чем грезы: и кресло, повторяющее каждый изгиб ее тела, и мягкий пробковый пол под ногами, и московский простор за окном, и мужчина, который сидит перед нею на полу и за спиной которого этот простор сверкает.

Да, Филипп сидел теперь на полу и снизу вверх смотрел на Сашу так, что сомневаться в его живейшем к ней интересе, и даже более чем интересе, было невозможно.

Наверное, надо завести с ним беседу. А что еще делать, если не собираешься отдалиться ему немедленно? Отдаваться Саша не собиралась, но и расспрашивать его о работе и жизненном пути не собиралась тоже. Кира, та точно взялась бы вот именно об этом расспрашивать, но ей это было в самом деле интересно, а Саше – нисколько. И зачем бы она стала притворяться?

– Дайте мне, пожалуйста, телефон, Филипп, – сказала она.

По его лицу мелькнуло разочарование. Ясно, что он ожидал какой-нибудь другой просьбы. Или, вернее, каких-нибудь других действий с ее стороны.

Он протянул Саше телефон. Мобильный номер Норы она не помнила, но домашний знала наизусть, несмотря на свою патологическую неспособность удерживать в голове цифры.

Таблицу умножения ведь всякий помнит, потому что выучил в детстве. Вот и этот номер телефона Саша набирала с самого детства – еще диск с дырочками накручивала, – договариваясь с Любой, когда им выйти гулять во двор.

И голос Норы прозвучал сегодня точно так же, как тридцать пять, если не больше, лет назад, когда Саша впервые набрала этот номер самостоятельно.

И как же обрадовал ее этот голос! Самый замечательный чужой дом не доставлял такой радости, какую доставило сознание того, что через полчаса она будет в доме родном.

– Нора! – воскликнула Саша. – У тебя ключи наши есть?

– Конечно, Сашенька. – Голос Норы звучал с той же тихой ясностью, с какой звучал с самого Сашиного рождения, когда она пела ей и Любе казачью колыбельную песню про младенца прекрасного и месяц ясный. – Куда бы им деваться?

– Ну, не знаю... Вдруг потеряла.

– Не потеряла.

Саша услышала в ее голосе улыбку. В самом деле, смешно было и предполагать, что Нора могла бы не уберечь твердыню Сашиного детства.

– А я свои потеряла, – с таким восторгом, словно, наоборот, приобрела невесть какое сокровище, сказала Саша. – Я через пятнадцать минут зайду, ладно?

– Ну конечно.

Пока она беседовала с Норой, Филипп поднялся с пола.

– Вызовите мне, пожалуйста, такси, – сказала Саша.

– Я вас отвезу, – ответил он.

В его голосе не было слышно разочарования, но Саша была уверена, что разочарование он испытывает. Она всегда слышала такие вещи и предполагала, что причиной тому является не какая-то особая ее чувствительность, а обычный музыкальный слух. То есть не обычный, а абсолютный.

– Что ж, спасибо, – сказала она. – Тогда можно я завернусь в вашу шкуру? От подъезда до подъезда.

– В мою шкуру заворачиваться необязательно. – Он улыбнулся. Огненные глаза сразу сверкнули не разочарованием уже, а весельем. – Я вам дам пончо из альпаки.

Судя по простонародному узору, пончо было привезено непосредственно из Перу, где альпаки водятся; ни в московском, ни даже в европейском бутике такого редкостного наива не найдешь.

И мелкий морозящий дождь касался теперь, когда Саша вышла под него в пончо, только щек ее и губ, и прикосновение это было даже приятно, и собственное нетерпение – домой, домой поскорее! – наполняло такой необъяснимой детской радостью, что и расставание с женщиной, даже таким выдающимся, как этот, не вызывало ни малейшего сожаления.

– Спасибо, Филипп, – сказала она, выйдя из его машины у своего подъезда.

– Пончо не снимайте. Мне будет приятно, если оно останется у вас.

Он говорил дежурные любезности, но смотрел совсем не дежурно. Он ей нравился. Теперь, когда понятно было, что общение с ним больше не является необходимостью, это сделалось для нее очевидным.

– Вы долго еще пробудете в Москве? – спросил Филипп.

Точного ответа на этот вопрос Саша не знала. То есть знала, что концерт у нее через неделю в Кельне, но, может быть, перед этим понадобится заехать в Вену и подписать документы по контрактам на следующий год.

Однако ему необязательно знать подробности ее профессиональной жизни. Да и понятно же, что спрашивает он сейчас не об этих подробностях.

– Еще три дня точно, – ответила Саша. И добавила, предупреждая следующий его вопрос: – Но телефон украли, а номер у меня венский, я его не сразу восстановлю. Так что пока вы можете звонить мне только домой.

Он не говорил, что собирается ей звонить, но ясно же, что собирается, и к чему в таком случае разводить церемонии? Они не дети, их тянет друг к другу, и какая разница, кто скажет об этом первым?

– Я могу даже покричать у вас под окном: «Александра, выходите!»

Он улыбнулся. Улыбка роскошная. Оттеняет его обаяние.

– Пожалуйста. – Саша улыбнулась в ответ. В обаянии своей улыбки она тоже не сомневалась. – Когда мне было тринадцать лет, все мальчишки так и делали.

– Диктуйте ваш домашний номер, Инезилья, – сказал он.

И «Маленькие трагедии» читал, и помнит про Инезилью, под окном которой стоит кавалер с гитарой и шпагой. Мечта, а не мужчина!



Мечтать о нем, впрочем, не было ни малейшей необходимости. Завтра он ей позвонит, и до ее отъезда из Москвы они встретятся.

Они оба вышли из того возраста, когда захлестывает романтика, но находятся в том возрасте, когда важны страсти, и далеко им еще до того возраста, когда ни то ни другое уже не имеет значения.

## Глава 7

Едва Саша вошла наконец в свою квартиру, как зазвонил телефон. Домашний номер знали только близкие, и не было ничего удивительного в таком позднем звонке. Близким-то всем известно, что она сова природная.

– Алекс, ты что, забыла включить свой телефон после концерта?

Голос Оливера звучал раздраженно. И хотя ровные английские интонации слегка смягчали этот эффект, Саша не намерена была позволять ему раздражение по отношению к себе. Ни на каком языке.

– Не забыла, – холодно ответила она. – Я была занята и не могла разговаривать.

Перед ее отъездом из Вены они поссорились, это была очередная ссора в целой цепочке схожих ссор, и как следствие – Саша не хотела рассказывать ему о том, что произошло с нею сегодняшним вечером. Ни о гангстерах не хотела рассказывать, ни о Филиппе.

Наверное, они с Оливером расстанутся. Она еще не решила, но похоже, что решит именно так.

– Но сейчас ты уже можешь разговаривать? – уточнил он.

– Не могу. Я должна замолчать. Боюсь, что застудила горло.

– Ты сумасшедшая! – рассердился он. – В Москве дождь, я смотрел прогноз. Зачем ты выходила из дому?

– Оливер, я начинаю молчать.

Саша положила трубку. Он обидится, это понятно. Но это не имеет значения. Он инфантилен и в силу этого обижается легко, как подросток, и так же, как подросток, долго пестует любую свою обиду, даже совсем ничтожную. Глупо было бы этому потакать. Он был ей интересен, какое-то время она была в него почти влюблена. Интерес отчасти остается и сейчас, но время влюбленности, даже со знаком «почти», – прошло.

Пока, исходя паром, наливалась в ванну вода, Саша сбросила с себя одежду – прямо на ковер, лень было сейчас делать лишние движения – и села за фортепиано. Ей нужны были эти вечерние минуты за инструментом.

Вот Кирка не может завершить день, не прочитав хотя бы две книжные страницы.

Люба должна заглянуть в комнату к сыновьям или позвонить им, убедиться, что они дома и здоровы, а потом должна забраться под одеяло к мужу – без этого не уснет, и поэтому, а вовсе не из ревности, до сих пор повсюду ездит со своим Саней, ни на день его не оставляет.

А Сашин день завершается проигранной на фортепиано мелодией. Так уж она устроена, потому и включает это условие – фортепиано в номере – во все свои гастрольные контракты, и вряд ли что-либо, даже общение с самыми распрекрасными мужчинами, когда-нибудь сможет ей это заменить.

Дед был устроен точно таким же образом. Когда Саша слышала завершающий аккорд, доносящийся из его кабинета, это означало, что его день окончен и он ложится спать.

Она проиграла два этюда Шопена, потом прелюдию Рахманинова.

Фортепиано, оставшееся от деда в квартире на Малой Бронной, было особенное. Вернее, оба его фортепиано были особенные – и это, домашнее, и то, что стояло на даче в Кофелях.

Дед Александр Станиславович, мамин отец, вырос в маленьком городке в Нижегородской области. Первое в своей жизни фортепиано он увидел в доме соседки, купчихи Фарятьевой. То есть это раньше, еще до дедова появления в городке, можно было сказать, что фортепиано стоит в ее доме. Но в первый послереволюционный год к гражданке Фарятьевой подселили других граждан, и в собственном доме стала ей принадлежать одна комната, самая маленькая. А потом по домам принялись ходить революционные солдаты, которые отбирали и уничтожали музыкальные инструменты как пережиток мещанства, хотя какое уж им дело до музыки, никто

понять не мог. Ну да им до всего было дело – всею жизнью человеческой они взялись на свой лад распоряжаться.

Гражданка Фарятьева свое фортепиано пережитком мещанства отнюдь не считала, потому что его заказал для нее в Петербурге и подарил на день рождения покойный, а точнее, расстрелянный теми же солдатами папенька. Поэтому Наталья Денисовна обшила фортепиано со всех сторон досками, сверху насыпала мерзлой картошки и таким вот образом, выдав за овощной ларь, сохранила его от борцов за новую культуру.

На этом-то фортепиано она стала учить музыке соседского мальчика Сашу Иваровского, сына ссыльного поляка-сапожника, обнаружив у этого тихого ребенка абсолютный слух. Ему она и завещала после своей смерти инструмент, и Александр Станиславович, к тому времени уже профессор Московской консерватории и обладатель дорогого «Стейнвея», съездив в родной городок и похоронив незабвенную Наталью Денисовну, перевез фортепиано к себе на дачу в Кофельцы.

В детстве Саша никак не могла решить, какой из двух инструментов, кофельцевский или московский, ей больше нравится. Она выбирала не между их звучаниями, а между их историями, и обе эти истории были необыкновенные.

В каждый звук кофельцевского инструмента вплетена была трогательная печаль купчихи Фарятьевой.

Фортепиано в квартире на Малой Бронной принадлежало прабабке с маминой стороны, и говорили, что эта самая прабабка уронила в него однажды свое обручальное кольцо, и с тех пор ее семейная жизнь пошла наперекосяк: мужа она разлюбила, стала менять любовников как перчатки и с одним из них сбежала в Париж, где умерла вскоре от чахотки.

Прабабкино кольцо в фортепиано так и не обнаружилось, хотя Саша ожидала этого каждый раз, когда приходил настройщик. Но все-таки она была уверена, что оно притаилось где-то между струнами, это роковое кольцо, и, играя, всегда слышала его золотой манящий звон.

И сейчас слышала тоже. Особенно в шопеновских этюдах. Может, потому, что все они были о свойствах страсти, это Пастернак точно заметил.

Саша впервые подошла к этому фортепиано, когда ей было пять лет. Она, наверное, и раньше пыталась к нему подойти, все дети любят колотить кулаками по клавишам, но подобные действия ей были запрещены категорически. До тех пор, пока не обнаружилось, что в отличие от своей мамы Алиции – о счастье! – Сашенька обладает музыкальным слухом. Вскоре выяснилось, что не просто музыкальным, а абсолютным, в деда, и интерес к инструменту обусловлен, значит, не упрямством и свойственным Сашеньке стремлением во что бы то ни стало настоять на своем, но природными ее склонностями и способностями, а может даже, и природными дарами.

С тех пор Саша приобрела обязанность проводить за инструментом три часа ежедневно. И не только она такую обязанность приобрела, но и Нора, которая возилась с ребенком в будни, и мама, которая занималась дочкой в выходные. И если для Норы с ее адским терпением нипочем было сидеть рядом с Сашенькой и следить, чтобы та не отвлекалась, то Алиция относилась к этому занятию как к каторге и прилагала огромные усилия к тому, чтобы дочка наконец начала заниматься самостоятельно, без ежеминутного надзора.

Очередную попытку она предприняла однажды в воскресенье, когда ожидались гости. Саше было тогда уже не пять, а семь лет, она ходила уже в музыкальную школу и делала успехи, и это ее вдохновляло, и – ну сколько же можно сидеть рядом с ней все время, пока она занимается?

Все эти соображения, поскольку дедушка Александр Станиславович был в санатории, мама высказала папе. Папа не возражал. Он вообще вникал в обыденные дела, только если они действительно требовали мужского вмешательства, потому что папа был мужчиной до мозга костей; это Саша поняла, впрочем, гораздо позже. А дочкины занятия музыкой мужского вме-

шательства не требовали, поэтому папа соглашался со всем, что считала правильным мама, вернее, вряд ли даже вслушивался, что она говорит на этот счет.

В общем, Алиция усадила дочку за инструмент и сказала, что сегодня та будет заниматься самостоятельно.

Саша возражать не стала. Она села за фортепиано, уставилась в открытые перед нею ноты, посидела десять минут, пятнадцать... Из гостиной доносился смех и звон бокалов. Хоть родители и работали в каком-то очень научном институте, названия которого Саша даже произнести не могла, хоть и разговаривали они о своей работе так, что нельзя было понять ни единого слова, но разговоры их всегда были страстными, увлеченными, и друзья у них были веселые, и когда эти друзья приходили в гости, в доме становилось еще радостнее, чем обычно, хотя и в обычные дни все в их доме было пронизано радостью.

Не то чтобы Саша хотела посидеть со взрослыми – что ей с ними делать? – но через пятнадцать минут она заглянула в гостиную и спросила:

– Мама, а когда ты придешь со мной заниматься?

Мама улыбнулась необыкновенной своей улыбкой, в которой беспечность соединялась с убежденностью, и ответила:

– Никогда. Сашенька, ведь я тебе сказала: сегодня ты занимаешься сама.

Саша не стала спорить. Она не поверила, что это правда. Конечно, мама пошутила, и можно было бы сразу ей сказать, что Саша об этом догадалась, но раз гости, то ладно, пусть мама посидит с ними, а потом все-таки придет к ней.

Саша посидела за инструментом еще пятнадцать минут. Ноты были открыты перед нею, но она не играла – ждала, когда придет мама и все станет как всегда. Потом она снова заглянула в гостиную, снова поинтересовалась, когда мама начнет с ней заниматься, и получила ровно тот же ответ, и ровно так же не поверила. Выходя, она услышала, как папа негромко сказал:

– Алька, но она же не играет.

– Значит, завтра на уроке ей будет стыдно, – так же негромко ответила мама.

Вечером, когда гости разошлись, мама вела себя так, словно ничего особенного не произошло. Она была весела, не ругала Сашу за то, что та ни разу не прикоснулась к клавишам, и, как обычно, поцеловала ее на ночь.

В понедельник вечером вернулся из санатория дед, и именно ему мама рассказывала о том, как прошел у Саши этот понедельник.

– Я ведь ее только для того на урок отправила, чтобы Анна Тимофеевна ее постыдила. И представь, спрашиваю Нору: ну как, Сашка сильно была расстроена, когда ты ее из школы забирала? А та мне удивленно так: с чего ей расстраиваться? Учительница ее похвалила. Как похвалила?! Да так – сказала, умница, Сашенька, весь этюд наизусть выучила. Ну как такое может быть?

Голос у мамы был и возмущенный, и удивленный. Саша притаилась под дверью дедова кабинета и отлично все слышала.

– В профессиональном смысле такое может быть очень просто. – Дедов голос, напротив, звучал спокойно. – Она смотрела в ноты на протяжении четырех часов, почему бы их не запомнить? А в человеческом смысле... Что ж, это свидетельствует о неоднозначности ее характера.

– Ну при чем здесь неоднозначность, папа! – воскликнула Алиция. – Сашка упрямая как черт, вдобавок мы с Норой ее избаловали, и очень даже это все однозначно.

– И упрямая она, и избалованная, это безусловно. Я, кстати, ожидаю, когда ты сама наконец поймешь, что любить ребенка нужно с умом, и Норе это объяснишь. Да, если бы у Саши не было ее одаренности, то она была бы просто невыносима. Однако одаренность вносит коррективы. Упрямство постепенно может стать упорством, а избалованность – способностью всматриваться и вслушиваться в себя. Но чтобы Сашина жизнь не пошла прахом, как с годами идет прахом жизнь любой избалованной и упрямой девчонки, – очень большая у нее должна

быть одаренность. Очень большая! – повторил дед. И добавил: – По правде говоря, я даже не очень представляю, что это вообще может быть за дар, когда речь о девочке.

– Какая разница, о девочке речь или о мальчике?

Саше показалось, что мама обиделась на дедовы слова.

– Большая разница, Аля, большая. Женщина в искусстве – явление почти невозможное или, во всяком случае, крайне редкое. Даже актрисы великие – большая редкость, а уж женщины-музыканты...

– Папа! – Теперь уж точно было слышно, что мама возмущена. – Не ожидала от тебя таких пещерных воззрений! По-твоему, женщина неполноценное существо?

– Женщина более чем полноценна. Гораздо более, чем мужчина. Но, по моему убеждению, только в той, весьма пространной, части жизни, в которой главное – быстрый ум, наблюдательность, интуиция, проницательность и прочие важные, но нередко встречающиеся вещи.

– А в искусстве, по-твоему, проницательность не нужна! – фыркнула мама.

– В искусстве нужна не проницательность, а такая неординарность, такая парадоксальность, такая глубина и такая способность к необыкновенному, неожиданному, никем не ожидаемому, безоглядному прорыву, какой, не обижайся, Алечка, женской природой просто не предусмотрен. Женщина создана Богом не для прорыва и не для безоглядности. А искусство – для прорыва и безоглядности. И этого противоречия не преодолеть. Так что лучше, если Саша будет просто знать, что упрямство – это упрямство, и избалованность – это избалованность, и надо все это в себе изживать. Если она это усвоит, то можно, по крайней мере, надеяться, что ветер жизни ее не собьет. А если будет рассчитывать, что великий талант ее когда-нибудь куда-нибудь вывезет, то и риск сломанной судьбы слишком для нее велик.

– Ох, папа... – растерянно проговорила мама. – Ничего я этого не понимаю. Я же у вас получилась чистый физик, а никакой не лирик. У меня даже слуха нет.

– Слух здесь ни при чем. – Дед улыбнулся. Он улыбался так редко, что Саша удивилась, расслышав через дверь его улыбку. – Ты умница, Алечка. И Сашу вы с Андреем воспитаете правильным образом, я уверен.

Саша, как и мама, ничего тогда не поняла в дедовых словах. Она их просто запомнила, как запоминала все, что он говорил. Не очень-то трудно было это запомнить, потому что такие длинные монологи были редкостью. Дед был немногословен и отдален от всего, что составляло обычную жизнь обычных людей. Он был окружен музыкой, как волшебным туманом, и там, в этом загадочном тумане, едва мерцал его величественный силуэт.

Так, во всяком случае, представлялось Саше. И поэтому дед был единственным человеком, мнения которого она не то что слушалась – трудно было вспомнить, чтобы он чего-либо добивался от нее, он же не Нора, которая требовала, чтобы Саша ела овсянку, – но принимала как непреложное.

Она росла и помнила эти дедовы слова про женский талант, и помнила их с опаской. Они были чем-то вроде ушата холодной воды, причем ушат этот не опрокинулся на нее однажды, а опрокидывался каждый раз, когда у нее начиналось «головокружение от успехов» – так папа иронически называл Сашины удачные выступления на концертах в музыкальной школе, за которые ее награждали то грамотой, то куклой, то поездкой на зимние каникулы в Ленинград.

И только к самому окончанию школы эта опаска наконец прошла. Не потому, что умер дед и некому стало ее предостерегать – он, собственно, и при жизни никогда не предостерегал ее, и тот разговор, который Саша восприняла как предостережение, происходил ведь даже не с нею, – а потому, что к этому времени ее голос, преодолев подростковую ломку, не такую резкую, как у мальчишек, но все же значительную, превратился вдруг в такое сильное драматическое сопрано, а главное, приобрел такую задушевность, что дальнейшая Сашина судьба стала очевидной.

Она и сама не понимала, откуда эта задушевность в ее голосе взялась и что означает. В характере ее не было ни тени того, что принято называть душевностью, жалостливостью, сочувственностью или чем-либо подобным. Проницательность ей была отпущена щедро, людей она видела насквозь и очень мало среди них замечала тех, кто душевности и сочувствия заслуживал бы. Мама, папа, Нора, Кира Тенета, Люба Маланина, Федька Кузнецов – они да, они безусловно, и в любой ситуации, и без малейших сомнений. Но все остальные... С самого детства и до сих пор Саша сотни раз убеждалась: люди так склонны жалеть себя и сочувствовать себе сами, что необходимость чьего-то – в частности ее – дополнительного к ним сочувствия вызывает большие сомнения.

Но голос Сашин брал за душу, это говорили все. И хоть в консерваторию она поступила на академический вокал, но когда пела романсы или народные песни, то, как заметил один писатель, с которым дружили родители, ее голос, минуя голову и вкус, вливался прямо в сердце.

И вот странность: в обычной жизни эта самая задушевность делает человека зависимым – хотя бы от тех, на кого она направлена. А в жизни певческой эта особенность голоса дала Саше независимость настолько полную, насколько она вообще возможна в реальном мире.

Благодаря этой необъяснимой задушевности она и сидела сейчас за дедовым фортепиано и наигрывала что Бог на душу положит, успокаивая себя после бурного дня, и будущее ее дышало свободой, как дышит оно свободой только для по-настоящему талантливого человека.

## Глава 8

– У вас деформированы связки.

Саша спросила бы фониатра Динцельбахера, что же теперь с этим делать. Если бы могла. Но она не могла ни о чем спросить, и не только потому, что этого не могло сделать ее горло, но и потому, что ее сковал ужас и стыд.

Что она натворила, что?! Как можно было поддаться какой-то необъяснимой лихости, беспечности, беззаботности, как можно было позволить себе то, чего не позволяет студентка-первокурсница, и не просто позволить себе все это, но даже не заметить, не отметить хоть каким-то здравым краешком внезапно одуревшего сознания, что позволяешь себе что-то совершенно непотребное?!

Почему она не отказалась петь, увидев, что придется это делать в полотняном павильоне? Что за морок ее объял? Но и это бы еще ладно – в конце концов, газовые горелки нагрели воздух так, что никакого холода не чувствовалось, за это Саша могла поручиться. Но дальше-то, дальше! Чем, если не полным непотребством, можно назвать то, что она бегала с голым горлом после того, как гангстеры утащили ее палантин, да перед этим еще орала, а потом еще болтала с первыми встречными мужчинами, и все это в сырую погоду, и после всего этого не бросилась немедленно к врачу, а понадеялась на молоко с медом и горячую ванну?

«Штормовка! Пончо из альпаки! – с ненавистью к себе подумала она. – Идиотка!»

– Это пройдет, Алекс, – сказал господин Динцельбахер. – Вы же знаете, что голос явление не физиологическое. Это ваша душа. Пройдет стресс, и голос восстановится.

«Да не было у меня никакого стресса! – хотелось воскликнуть Саше. – Я просто застудила горло, скажите же мне это!»

– Я не вижу признаков того, что была простуда, – словно услышав ее мысленный вопль, безжалостно заявил Динцельбахер. – Такое состояние связок, какое я наблюдаю у вас сейчас, всегда есть следствие сложной гормональной игры. Ваш женский цикл в порядке. Значит, гормональный сбой связан с каким-то стрессом.

«Я этих гангстеров дурацких ни капельки не испугалась!» – сердито возразила Саша.

Мысленно возразила, конечно. Что еще ей оставалось?

– Да-да, вы должны помолчать, – кивнул Динцельбахер. – Неделю по меньшей мере. Потом придете ко мне, и мы посмотрим, как дела, и решим, что делать дальше. А пока – только молчание. Погрузитесь в уединенные размышления. – Старый доктор улыбнулся. – Это придает глубины уму, душе и характеру и, следовательно, идет на пользу искусству.

Динцельбахер говорил о пользе уединенных размышлений как человек старый, человек профессиональный и человек венский. Возразить на все это было нечего. Саша со вздохом кивнула.

Уныние держало ее за горло так крепко, что даже ясная, светлая, прозрачная венская осень не ослабила эту хватку.

Клиника Динцельбахера находилась неподалеку от Оперы, и, выйдя на улицу, Саша медленно побрела по Рингам к дому, в котором снимала квартиру; это было тоже недалеко, в двух кварталах.

Горло у нее не болело, но она закутала его так тепло, что даже щеки покраснелись. Что бы Динцельбахер ни говорил про душу и стресс, а все дело только в простуде, это же очевидно. Пройдут ее последствия, и голос восстановится.

Венская квартира Саше нравилась, и она даже подумывала, не купить ли ее, вместо того чтобы снимать. Но когда она вошла в нее сейчас, ее охватило что-то вроде недоумения: она хотела здесь жить? Зачем?

Ответить себе на этот неожиданный вопрос она, впрочем, не успела.

Посередине комнаты в ее любимом кресле, накрытом ее любимым швейцарским пледом, сидел Оливер собственной персоной.

«Разве ты не уехал?» – чуть не спросила Саша.

Да вовремя вспомнила, что должна молчать во что бы то ни стало.

«Как безропотная женщина Востока», – сердито подумала она.

Сколько дней или даже недель ей придется молчать, было непонятно, и появление Оливера казалось поэтому совсем некстати.

Или не поэтому – оно просто было некстати. Саша вдруг поняла это так ясно, что даже удивилась: о чем она думала прежде, в чем сомневалась? Их отношения изжили себя, а может, и с самого начала не было в их отношениях того, что держит людей вместе, как держит всех на себе земля. Да и не все ли теперь равно, что было вначале, что стало потом? Расставаться пора, вот в чем суть.

– Русская безответственность все-таки оказалась в тебе сильнее, чем ответственность, которая входит в понятие таланта, – сказал Оливер.

По-русски это прозвучало бы пошло, а по-английски – нет, ничего. Да и по смыслу ведь правильно. Но что бы Саша ни думала на этот счет, ответить она все равно не могла.

– Ты все-таки простудилась? – уточнил Оливер.

Она кивнула – только для того, чтобы прекратить наконец эти раздражающие расспросы.

– Теперь должна молчать?

Саша кивнула снова.

– И сколько это будет продолжаться?

Сочувствие мешалось в его голосе с едва ощутимым торжеством. Она пожала плечами. Пора, пора прекращать это соревнование! Удивительно, как раньше ей казалось естественным, что Оливер ревниво относится к ее успехам. Да ведь и она точно так же относилась к его успехам. В конце концов, они оба творческие люди, и подобная ревность естественна, так она думала раньше.

«А теперь, выходит, я так не думаю?»

Теперь, выходит, нет. А почему, и что такого произошло теперь, непонятно.

Она смотрела на Оливера в упор. Он по-прежнему казался ей красивым. Собственно, он ведь и не изменился за то время, что они не виделись. Такой же высокий, светловолосый, так же напоминает викинга, и светлые кудри так же выются на висках. Когда он аккомпанировал ей и после концерта они выходили на поклон, зал взрывался аплодисментами не только от музыкальных впечатлений, но и от того, как они выглядели вместе. Оливер это знал, и ему это нравилось, но все же он выступал с Сашей не слишком часто. Опасался, что его начнут воспринимать как ее аккомпаниатора.

Она относилась к его опаске с пониманием все два года, которые они были вместе – не жили вместе, этого не было никогда, но считали себя парой. Но сейчас та его опаска показалась ей глупостью несусветной. Когда связи, пусть временно, вычленились из Сашиной жизни, что-то предстало ей в жизни иначе. И эта комната в венской мансарде, и вьющийся под потолком фриз, расписанный в духе Сецессиона прежним жильцом, и Оливер...

Саша провела взглядом по лицу Оливера, потом по фризу... И поняла, что хочет уехать в Москву.

Это понимание показалось ей странным, тревожным, но от странности и тревоги не стало менее отчетливым.

Да, ей не хочется оставаться в квартире, которая последние пять лет казалась уютной и даже любимой, не хочется видеть цветы и травы, нарисованные под потолком, не хочется видеть Оливера и тем более целовать его – он наконец поднялся из кресла и, подойдя к Саше, попытался ее поцеловать.



«Что ж, значит, теперь это так, – подумала она, отстраняясь. – В первый раз, что ли, одно кончается, другое начинается?»

Уж точно, что не в первый. Обрывы, перемены, преобразования происходили в ее жизни постоянно, без них она и жизнь свою не могла представить. И хотя в этой вот, теперешней жажде перемен было что-то настораживающее, Саша не стала разбираться, что именно. Сегодняшний день должен отличаться от вчерашнего и тем более от завтрашнего, иначе зачем он вообще нужен, сегодняшний, да и завтрашний тоже! Так было в ее жизни всегда, и так оно всегда будет.

Отношения с Оливером стали в последнее время вялыми, только ссоры их оживляли, делая чем-то отличным от обычных отношений между коллегами, и ссоры стали им требоваться слишком часто.

«Я уезжаю из Вены, чтобы расстаться с ним», – подумала Саша.

Эта мысль ее успокоила. В ней не содержалось той непонятной тревоги, которой было пронизано ее необъяснимое стремление в Москву, когда оно только возникло. Хотя – что уж такого необъяснимого? Саша вспомнила, как в детстве, когда она прочитала «Отверженных» Гюго, ее поразило описание французского мастерового, открывшего дверь каторжнику Жану Вальжану: его лицо имело то не поддающееся описанию выражение, которое свойственно человеку, знающему, что он у себя дома...

Она хочет знать, что она у себя дома. Неделю назад подобное знание ей совершенно не требовалось, но неделю назад ее связки в любую минуту могли наполнить звуками ее тело и через него – окружающий мир. А теперь она пуста, как треснувшая колода, и лицо ее выглядит бессмысленным, а значит, ей надо наполнить смыслом если не всю себя, то хотя бы выражение собственного лица.

## Глава 9

Саша проснулась перед рассветом. Тревожное, одинокое время, и только совсем бесчувственный человек ни разу в своей жизни этого не ощущал.

Единственный город, где в такое время не стоит зловещая тишина, – Нью-Йорк, с его глубоким, нутряным, утробным гулом и вечным воем сирен. А Москва в предрассветный час все же затихает, пусть ненадолго, и лучше человеку не просыпаться в такой тишине.

Но Саша отчего-то проснулась и, еще прежде чем поежилась от предрассветного неуютя, поняла, что тишина не абсолютна: какие-то неясные звуки доносятся снизу, со двора. Она прислушалась – звуки показались ей мелодичными. Она подошла к окну и посмотрела вниз сквозь прозрачную занавеску.

Во дворе под фонарем стоял Филипп в светлом плаще. Он выглядел так буднично, что на него легко было вовсе не обратить внимания. Но ведь важные события всегда совершаются буднично, и глупо думать, будто им должен предшествовать трубный глас. Гитарный разве что.

Да, в руках он держал гитару. Саша чуть было окно не распахнула, чтобы получше это разглядеть, и только в последний момент опомнилась. Не хватало снова горло застудить! Но за целый месяц, прошедший после ее знаменательной простуды, не произошло ни одного события, которое взбудоражило бы ее и взбодрило так, как явление этого мужчины с гитарой у нее под окном. Поэтому ничего удивительного не было в ее порыве немедленно распахнуть окно.

Она приоткрыла форточку и прислушалась.

– Я здесь, Инезилья! – речитативом произнес Филипп. Голос у него был приятный. – Я здесь, под окном! Объята Севилья и мраком, и сном.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.